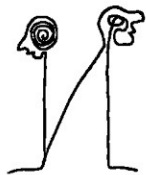




БОРИС ВАНТАЛОВ
СЛОВА



РИСУНКИ
Б. КОНСТРИКТОР



БОРИС ВАНТАЛОВ
СЛОВА
&
РИСУНКИ
Б. КОНСТРИКТОР

Киев
ПТАХ
2010

ББК 84.4РОС6
В17

*В оформлении обложки и книги
использована графика Б. Констриктора*

Ванталов, Борис.
В17 Слова и рисунки / Борис Ванталов – Б. Констриктор. –
К. : Птах, 2010. – 256 с.

ISBN 978-966-8828-01-0

Книга «Слова и рисунки» – второй том «неполного собрания текстов» Бориса Ванталова – Б. Констриктора (первый, «Записки неохотника», вышел в 2008 году).

Стихи, проза и рисунки сплетаются в орнамент судьбы, выводящей за пределы собственного «я». Смена масок-псевдонимов, жонглирование ими приводят сочинителя к употреблению имени собственного как нарицательного.

«После себя остается немного». Эта неуничтожимая малость и запечатлена в узорах из слов и рисунков.

ISBN 978-966-8828-01-0

© Б. Ванталов, 2010
© Б. Констриктор, 2010
© Птах (Киев), 2010



ОТ АВТОРОВ

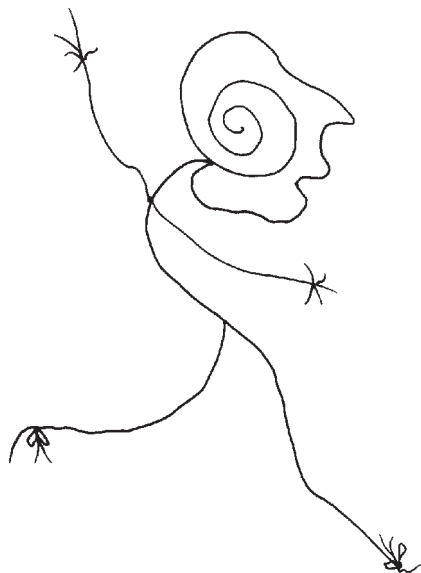
Стихи, проза и графика расположены в этой книге не в хронологической последовательности, а как Бог на душу положит.

Сны из слов и рисунков авторы пытались обратить в орнамент судьбы своего «прародителя» – Аксельрода Б.М.

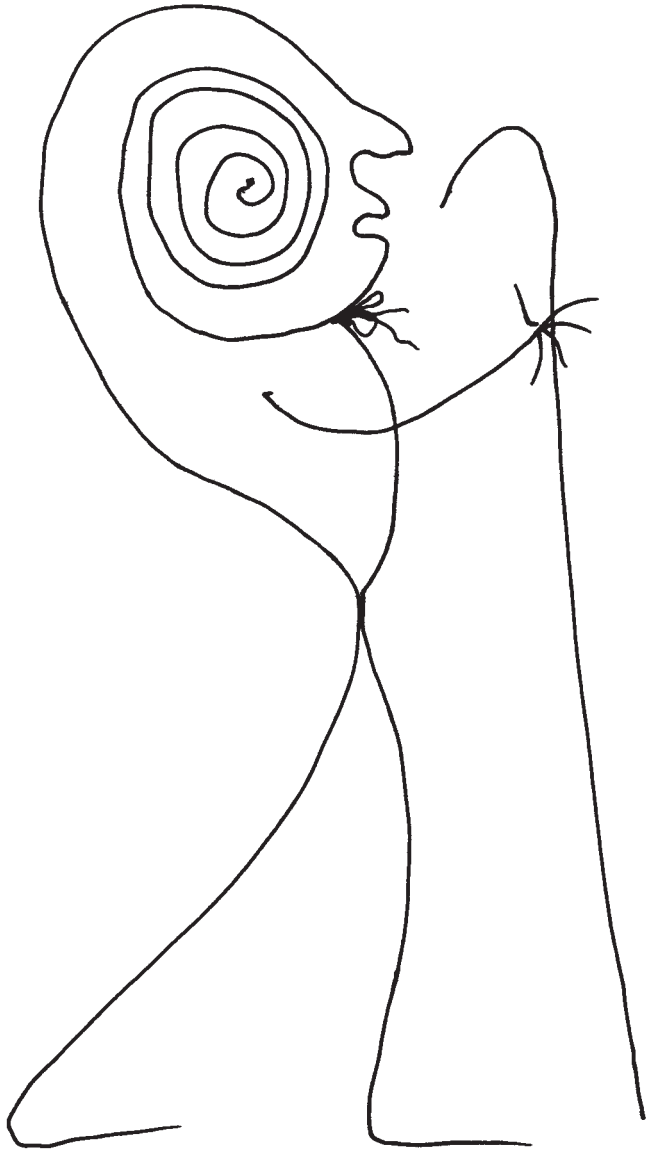
Последний, кстати, всю жизнь безуспешно стремился стать абстракционистом. Именно в этом русле авторы рекомендуют рассматривать нижеследующие узоры ментального балета.

*Март 2010 г.
СПб, Черная*

*е
ч
к
а*



СТИХИ О ЦАГЕНДОНЕ



1
Жил на свете Цагендон
розовый, сердитый.
А на крыше за углом
женщина играет.

Занавеску опустил
и сказал печально:
«Это – музыка чернил,
тает чья-то тайна».

2
ПО ДОРОГЕ В ТИБЕТ

Хрупкая цитра
в руках Цагендона
бессильно молчит.

Падает снег.
В чаше вино серебрится –
месяца серп.

Молодого льда
ломающийся голос.

3
ТРУДЫ И ДНИ

На дереве птица.
Под деревом снег.
Сидит Цагендон на скамейке:
«Вот только что здесь проходил человек,
Он дал мне четыре копейки!»

4

Цагендон накопил миллион.

Дин-дон-бон,
дин-дон-бон,
дин-дон-бон.

Улетел за пределы земли.

Тра-ля-ля,
тру-ля-ля
тю-ли-ли.

И теперь он живет вдалеке
и рисует на синем песке
монолог о зеленой тоске.

Кес-ке-се,
кес-ке-се,
кес-ке-се.

5

Возьмите в руки Цагендон.
Какой прозрачный шарик он!
Играет тысячью лучей,
плюет на мнение врачей.

6

МОЛЬБЕРТ ЦАГЕНДОНА

Пустынно наше побережье.
Такие голые мечты.
Идет мольберт, дыша ногами,
навстречу бешеной судьбе.
Подобно моли вещи рушит
молящий Бога человек
и поднимается из праха
в объятьях ласковых лучей,
и ангел белый как папаха
его встречает между строк.

7

Цагендон такой хороший,
мозги вырядил в калоши,
ходит-бродит в облаках
и читает аль-монах.

8

Цагендон умирает (в рваных носках),
заостряется медленно нос,
сквозь предметы проходит какой-то монах,
на гармошке играет матрос.

Цагендон говорит золотым паукам:
«Вы плетите молчания вязь,
хитроумным ученым Христа не отдам,
белый лотос да вечная грязь».

В черном небе сражаются яркие сны,
за волною взлетает волна.
Цагендон умирает без чувства вины,
убаюканный гаммой пятна.

9

*Глагол златотканый
туманной волною
сознания шар в бездну вод унесет.*

Цагендон выжигает жизнь,
чтобы камню сказать дружисце,
чтобы волны в пустынном теле
омывали корабль сердца.

Пусть снует он в морской пучине,
облаками сквозь сон гонимый,
равнодушный к сиреневым трелям
скрипучий скиталец.

Простирая тонкие мачты
в нелюдимый простор небосвода,
невесомый корабль сердца
покидает грузное время.

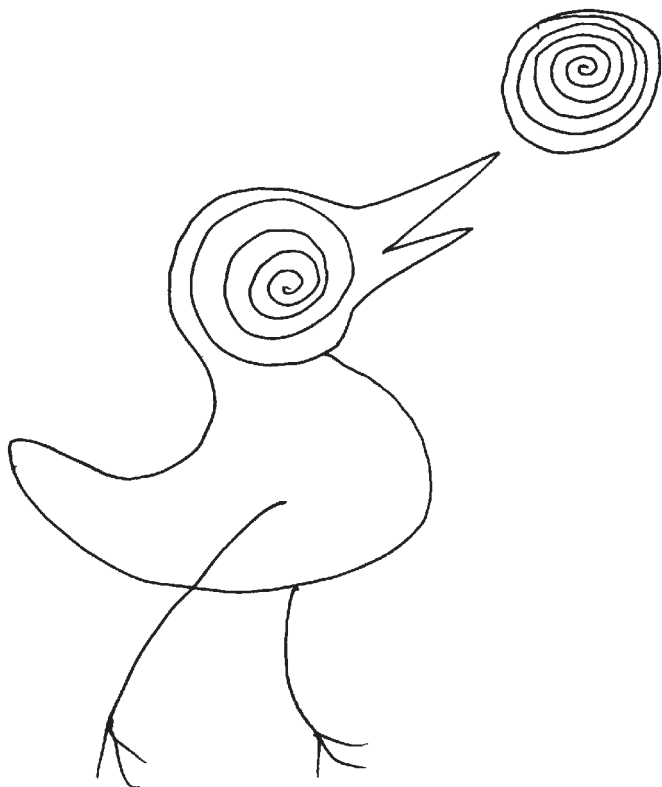
Мотыльки парусов.

Аминь.
1979–80



ВРЕМЕНА ГОДА

1. Осень Робинзона
2. Белая струна
3. Лето красное, как крематорий
4. Соловей на Черной речке



ОСЕНЬ РОБИНЗОНА

Не в церковь я хожу – на острова.
Последние жемчужины модерна
опутывают ржавая трава,
бетонные заборы Коминтерна.

Легко идти сквозь дачный лабиринт
навстречу ветру Финского залива.
Невы мерцает эластичный бинт,
и жизнь прохладна как жестянка пива.

На островах живеи небытие,
оно растворено в осеннем променаде.
Летает втихомолку воронье
и пустота играет на эстраде.

Руины философские торчат
из праха увядающей природы.
Деревья-книги шелестят.
Не листья здесь пинаешь – годы.

Давным-давно в ЦПКиО гремела музыка.
Зимой дымилась пирожки. Гуляла публика.
С американских гор, вопя, катились школьники,
и в белых фартуках тогда стояли дворники.
Повсюду продавались раскидайчики,
речные бегали трамвайчики,
и были мы пушистыми как зайчики.

Морской проспект фатально пуст.
Троллейбусы не чаще всплесков духа.
Над золотом дрожит валютчик-куст:
все заберет зима-старуха.

Насилуют пространство бегуны,
гребцы каналу испарывают брюхо,
трамваи с Петроградской стороны,
как насекомые, в мое вползают ухо.

По островам ступает Робинзон,
не с Пятницей, но с преданной бутылкой.
Желтеет Поднебесная – газон,
и падший лист вступает в связь с затылком.

Крестовский остров – вотчина Басе.
Развалины прекрасного далека.
Спасибо, прошлое, за все,
с тобою нам по-детски одиноко.

Я завершаю свой маршрут,
и жертвенное пламя листопада
притихший озаряет пруд...
Лягушки вымерли. Так надо.

Дуб Петра Первого умер,
а я его помню живым.
Вместе с бабушкой русской
часто гулял под ним.

Дуб Петра Первого умер,
теперь это пень давно,
нет больше бабушки русской
и много еще кого.

А на Елагином пирует тишина.
Река в залив течет устало.
Здесь пьян бываешь без вина.
И Летний театр кажется Поталой.

Острова – это просто стихи,
где слетают с деревьев фонемы.
Облака словно рифмы легки,
и давно отцвели хризантемы.
Здесь не надо искать ничего,
ты свободен, свободен, как птица.

Но сознание свободней всего, –
ни журавль оно, ни синица.
Это музыка дальних морей,
это шорохи вечного сада...

Вдоль аллеи плетется еврей,
выпадая из общего ряда.

Перед тьмой и космическим холодом
вдруг взрывается мир красотой:
каждый атом становится золотом,
каждый лист – безупречно святой.

По законам осенней алхимии
утонченные льды октября,
снегопада парящие линии
превратиться должны в снегиря.

Ноябрь. Первое число.
Деревья голы как скамейки.
Куда все листья унесло,
кто пропил осень до копейки?!

Теперь притащится зима,
с ней летаргия на полгода.
В потемках будет грызть дома
тварь петербургская – погода.

Проходят лето и зима,
проходит осень и весна проходит.
Проходит все, но остается тьма,
в которой что-то колобродит.

осень 1998 г.

БЕЛАЯ СТРУНА

ЗАМЕРЗШЕЕ ОКНО

Тяжело в Петербурге зимой.
Вечный сумрак во мне, надо мной.

Ржавым цветом чадят фонари.
Ты Иона у рыбы внутри.

Прозябая в клубящейся тьме,
так легко повредиться в уме.

РАССВЕТ НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ

Содрогаясь, смотрю ранним утром
в заочно-заумную мглу.
Пешеходы скрипят перламутром,
задыхаясь на зимнем ветру.

В школу тащатся бабки и дети.
Голоса, обращенные в пар,
исчезают в сплошном фиолете,
и вздымается ядерный шар.

ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА

Мороз тропический орнамент,
глумясь, выводит на стекле.
На небе старом, как пергамент,
двух жалких тучек крем-брюле.

Вот мужа зрелого услада:
смотреть в замерзшее окно.
Тебе уже не много надо,
но меньше этого дано.

А во дворе скрежещут санки,
и долу клонится томат.
Сын просит почитать Бианки.
«Эй, муравьишка, shnell, закат!»

Опять закат. Лютует Дед Мороз.
Брутально запад багровеет.

В башке ребяческий вопрос:
«Зачем Всевышний нас не греет?!

Краснеет дым железных папирос
и речка Черная белеет.

Как Млечный путь, мерцающий вопрос
червем алмазным в небе индевеет.

БЕЛАЯ СТРУНА

1

Снег на решетке балкона.
Рябину клюют снегири.
Природа зимой – икона,
живущая изнутри.

Пылает нездешним светом.
Вьюгой во тьме поет.
Бог был всегда поэтом,
который нигде живет.

Шаманский северный ветер,
бьющий в бубен лица,
воет: «Как ты не заметил,
как ты не заметил отца?!»

2

Зимою лес уходит в монастырь.
Постится все. И даже неживое.
Ведет органику смерть-поводырь
в иное.

След самолета – белая струна,
заката красно-синяя рубаша,
под куполом хрустальным тишина
звучит магически, как Сарабанда Баха.

Горят свечами окна в темноте,
 мерцают звезды светлячками.
 И в этой молчаливой красоте
 мы кажемся себе чужими снами.

3

Деревьев белые колонны,
 гиперборейский Парфенон.
 Морозом ветер напоенный
 снега колышет, как хитон.

Эллады мраморной прозренье,
 сугроб – Пентесилеи грудь.
 Зима в античность возвращенье
 или еще куда-нибудь.

4

Когда Исаакий покрывает иней,
 становится он будто Тадж-Махал.
 Собор забыл о тяжести, твердыне
 и крыльями свободно замахал.

Вот смертному урок. Работай,
 ищи в себе жемчужное зерно.
 Бог драгоценность озарит горячей нотой
 и вспыхнет лента твоего кино.

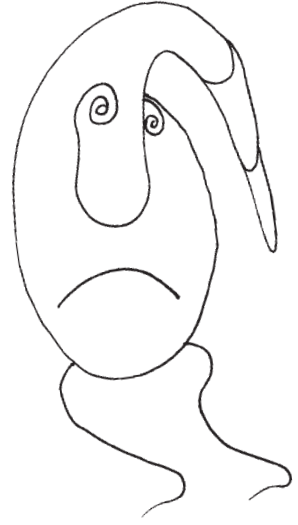
Палящих кадров быстрое вращенье.
 Судьба проносится, как сон.
 Вся в пламени, она – стихотворенье.
 Ты рифмой был. Ты в ритме был крещен.

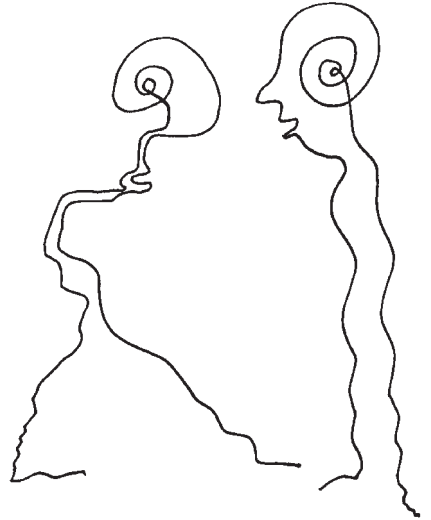
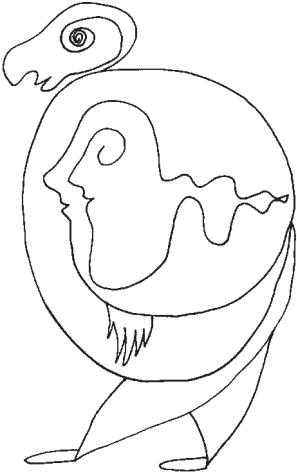
5

САТОРИ

Снегом занесенный дебаркадер.
 В белой дымке тонут острова.
 Неподвижность. 25-й кадр.
 Век двадцатый.
 Пять часов утра.

2007





ЛЕТО КРАСНОЕ, КАК КРЕМАТОРИЙ

ЗНОЙ ПОЛУДЕННЫЙ

Солнца скворчит котлета
над вермишелью мостов.
Вагнер из ватерклозета.
Зеленая плесень кустов.

Трупные пятна сирени.
Города мертвого пыль.
Прет психоделик Евгений
сквозь петербургский пустырь.

1999

АПОКАЛИПСИС–99

Лето красное, как крематорий,
жжет болотную топь СПб.
Закипает Балтийское море.
Пот соленый ползет по губе.

Век двадцатый кончается шуткой:
раскаленная сковорода.
Нострадамова жарится утка.
Кушать рано еще, господа.

1999

ЛЕТНИЙ СОН

Внизу дворцы, каналы, шпили.
Парю над пропастью Петра.
Все крылья вымазаны в иле.
Жара.

В луженой глотке смерть клекочет
 благу весть.
 Луч солнца мозг заснувший дробит:
 «Проснись, рептилия, ты – здесь!»
 1999

НЕ ТОЛЬКО О ДОЖДЕ

Пространства серое обличье
 сквозь дождь, стучащийся в окно.
 Весь мир нахохлился по-птичьи
 и днем темно.

Смотрю заброшенные книги.
 Листаю старые стихи.
 Проходит жизнь.
 Ее вериги
 уже легки.
 1999

СИБЕРСКАЯ

Глина рыжая каньона.
 Воды быстрые реки.
 Крон зеленые знамена.
 Белый трепет – мотыльки.

В небе ласточки бурлили.
 Ел черешню славный пес.
 Люди поверху ходили
 в томном обществе берез.

Травы густо пахли медом.
 Колокольчики цвели.
 Над роскошным огородом
 плыли облак корабли.

До чего картинка ясна.
 Хорошо, как в день седьмой.
 Все прекрасно! Все прекрасно?!
 Только холодно зимой.
 2007

СОЛОВЕЙ НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ

Снег сошел. Земля опять беременна.
Медленно теплеет бытие.
Выползет из недр зелень временно,
поглядит в небо. Вот и все.

Весною корюшка запахнет огурцом.
Сквозь сон начнет природа улыбаться.
К светилу повернется вновь лицом,
сознанием околпаченная цаца.
Впитает тело ультрафиолет.
Нос, словно хищник, в ландыши вонзится.
Кузнечик зазвенит – велосипед,
и потеряет что-нибудь девица.

Хлороформом хлорофилла
одурманены мозги.
Жизнь весною просквозило.
Льдин последних пироги.

В глубине вселенской ночи
солнце вертит теплый прах.
Сердца аленький комочек
держит ритм в пестрых снах.

Прорвав блокаду наготы
лиственной взрывается растение.
Герои, первые цветы,
идут в разведку. Скоро наступление.

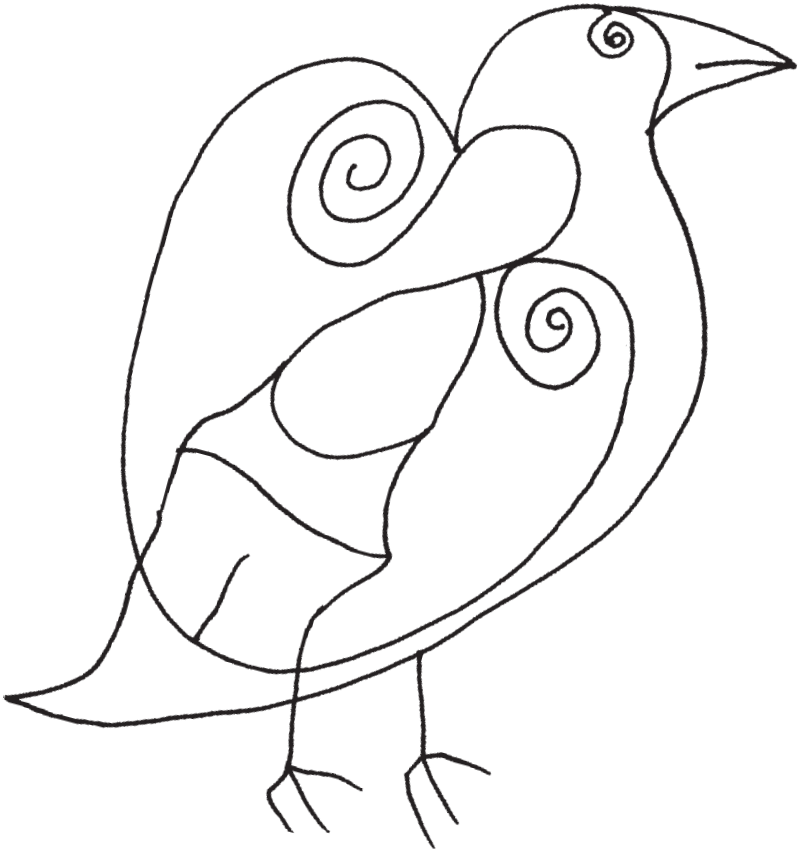
Ликует весь крылатый мир,
 справляя праздник размноженья,
 и достает кармический факир
 яйцо из чудного мгновенья,
 как дирижер,
 волшебной палочкой
 взмахнув.

Опять критические дни!
 На ветках сыпь – зелененькие точки.
 Весна, подруга, извини,
 до фени мозгу эти заморочки.

Мой организм пережил восторг.
 Растительного царства эскапада
 не действует, когда вступаешь на порог
 распада.

Соловей на Черной речке
 заливается, поет.
 В мозг заумные словечки
 тонким клювиком кладет.
 Пусть летейская водица
 как рассудок холодна,
 свищет маленькая птица...

В этом ужасе – весна.
 2007



ЧЕРНАЯ РЕЧКА

1. Путеводитель
2. Письма к сыну
3. Молчба
4. Поминки по Гуттенбергу
5. Кое-что об аксельроде
6. Время-воды
7. Конец фантома
8. Гуляет мозг по улицам себя
9. Остановка по требованию
10. Северное сияние
11. Дорога домой
12. Прыжки и танцы



ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ЧЕРНАЯ РЕЧКА

Удушливый узел подземки
завязан в петровом мозгу,
Везут обрусевшие немки
калмыцким французам рагу.

Летит протоплазма окраин
сквозь кольчатый терем червя.
Орфей-эфиоп неприкаян:
«Ау, Эвридика, вот я!»

САД ДЗЕРЖИНСКОГО

Добро и зло бесхитростно цвели.
Махала ветка шапкой золотистой,
и, оторвав подошвы от земли,
над бабьим летом плыли футболисты.

Бутылки собирал горбатый гном,
акселераты шли, как макароны.
Младенец-херувим с раскрытым ртом
исследовал застылый труп вороны.

У дебаркадера качались катера,
в них изменяли женам инженеры.
В кустах по-черному с утра
глушили водку люмпен–офицеры.

На голубой эстраде старики
упорно дули в полковые трубы.
Последние порхали мотыльки.
И Феликс скалил бронзовые зубы.

КАРПОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК

Херувимы над подъездом.
Сфера отроческих грез.
Окрылен двадцатым съездом,
кроха-сын спросил всерьез:

«Отвечай скорее, папа,
 дядя Сталин был плохой?
 Словно кошка рыжей лапой
 играл с мышкой в упокой.

Ах, зачем он мышку мучил?
 Лучше сразу бы убил!
 Он усы так страшно пучил...
 Как же ты его любил?!»

Но молчал пунцовый папа,
 лишь газетою шуршал,
 где соломенную шляпой
 новый лидер искушал.

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

В лесах татарская мечеть,
 широкополой шляпы бронза.
 Аятолла боится есть,
 ведь был отравлен пролетарский бонза.

Загажен птицами балкон.
 Темнеет быстро в брошенной столице.
 И муэдзин спешит отдать поклон
 петровской спице.

Серый полдень. Туман и вода.
 Одноразовый шприц Петропавла.
 Снова пушка палит в никуда,
 царь-будильник змеи и кентавра.

Генерального штаба глиста,
 гранд-колонны державная похоть,
 если Шива нагрянет сюда,
 ангел барышню схватит за локоть.

Ночь бесстыдно раздвинет мосты
в этом пост-европейском борделе.
Как, на Марсовом поле кусты
даже в вечном огне не сгорели?..

Зевают сфинкс. Горят библиотеки.
Александрия. Атлантида. Сон.
Делирики. Республики. Аптеки.
Повсюду «гласность» – новый Робинзон.

Который век горят библиотеки?
Листает ветер Книгу Перемен,
и на Литейном пухнут картотеки:
обречена неверная Кармен.

Дымящийся прах «Англетера».
Февральская лютая ночь.
Вдоль стройки блуждает пантера,
что Маугли хочет помочь.

Исакий на финские краны
угрюмо глядит свысока.
Внизу мельтешат обезьяны.
Лианы щекочут бока.

Царь Петр торжественно скачет
на медной блохе Фальконе.
Пред вечностью это что значит?!
Танцует удав при луне.

Должно быть, Сизифом обрушен
на площадь Сенатскую камень.
Кентавр, падучей придушен,
сдает на блаженство экзамен.

Ведь мертвому больше не больно
 в квадратном раю Мондриана,
 и город, подошедший подпольно,
 похож на портрет Дориана.

МАЛАЯ САДОВАЯ

*За магазином Елисеевским
 не Елисейские поля.*

На этой улице короткой
 я встретил кроткую судьбу.
 Она влила портвейн в глотку
 и приказала: «Спи в гробу».

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»

Иду по Школьной улице один.
 Вот здесь жила когда-то Шварц Елена.
 Парил над крышей шестикрылый серафим,
 а люди думали антенна.

Ходили с бабушкой в кино.
 Смотрели «Графа Монте-Кристо».
 Тот кинотеатр закрыт давно
 и больше нет известного артиста.

Пестрит крестами в книжке записной,
 а я так и не выучил английский.
 Империи обломок, скиф полуслепой,
 моллюск балтийский.

На Серафимовском безмолвствует родня.
 Трясет надгробья электричка в ритме диско.
 Нет, это все уже не для меня.
 Неведомое ближе, ближе... Блиско!

Темным-темно в моей деревне,
ползет по скользкой мостовой
приятель ящер, пьяный, древний,
качая плоской головой.

Он знает безысходность рая,
тупую скуку вечных мук,
и, ничего не выбирая,
обходит снова этот круг.

Я живу на Черной Речке,
я живу на речке черной.
Сюр колеблет пламя свечи
в голове, от чая темной.

Огонек самосознания
в тьме кромешной пьяно пляшет.
Что ему людей желанья,
он не сеет и не пашет.

Вековечные вопросы:
ни привет, ни ответа.
Вот трава для папиросы
господина мета-Мета.

Сюр колеблет пламя свечи
этой жизни беспризорной...
Я живу на Черной речке,
я живу на речке черной.

1995

ПИСЬМА К СЫНУ

*Повсюду смерти тайный опыт.
Зачатый тлением земли,
ты умирающего шепот.
Рыбешка бьется... Раз-два-три.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глаза закрыты, слушаю кого-то,
бормочущего влажные слова.
Как пузыри со дна болота,
они в тебе всплывают, голова.

Нездешних образов крадется вереница,
в оцепененье замолкает мозг,
и слово исчезает, словно птица
в закатном небе... Тишина. Погост.

Не плачь, сынок, на папиной могиле,
ведь папа не был никогда.
Мы – облака парящей пыли.
Белиберда.

Но в этих сполохах беспечных,
пустых улыбках бытия
скользят фрагменты формул вечных...
Прости меня.

Что может быть смешней себя?!
Полуслепого, чуть живого...
Словечко детское «нельзя»
звучит теперь опять сурово.

Уже не матушка, а смерть
перстом колючим грозно машет.
Свистит судьбы срамная плеть.
Марионетка пляшет... Пляшет!

Мозг распускает нити дней.
Душа прозрачней, легче, тоньше.
Сквозь щели узкие дверей
вползает тьма. Всё больше, больше...

Кружат песчинки на юру,
остатки меркнувшего его.
Как жалко, я не весь умру!
Зачем ты мертвым снишься, небо?

Ты знаешь, я хочу умереть.
Носом упасть в траву,
услышать букашек сухую медь,
жить начать наяву.

Пусть карабкаются жуки
в моем заполошном мозгу.
Краснознаменные червяки
танцуют гопак на лугу.

Будет беспечно расти трава
сквозь дыроколы глаз.
Тело рассыплется, точно халва,
в тысячу первый раз.

Неумолимо пластинку судьбы
вращает времен острие.
Путник, не ведающий тропы,
опять забредет в бытие.

Когда-нибудь в каком-нибудь конце,
когда-нибудь в каком-нибудь начале
мы вспомним о невидимом лице,
которое лишь в зеркале встречали.

Мы вспомним восхитительную плоть,
с которой столько лет дружили...
Какие сны устроил нам Господь,
чтоб мы сквозь время переплыли!

Сон священной программы «Время».
Напряженный ночной эфир
разорвет заскорузлое темя,
что-то всхлипнет и выйдет в мир...

Ты не верь, не проси, не бойся.
Лишь на яркий огонь лети.
Таково мотылька устройство,
нет иного ему пути.

Ни жив, ни мертв.
Закончена земля,
а впереди, по Гоголю,
дорога.

И ты ползешь на свет,
классическая тля.
Солярный зайчик,
проводи до Бога!

Работай, повторяй себя,
как потаенную молитву.
Не радуясь и не скорбя,
тащи свой прах сквозь бред и битву.

Пусть кружится сознаний рой
во сне неведомого Бога.
Пройдем сквозь все, придем домой
и сбросим обувь у порога.

Прости-прощай, моя дорога!

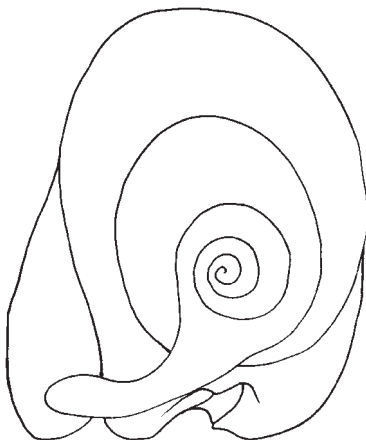
За порогом ловушки страдания
поджидает нас пустота.
Позади лабиринты сознания.
Нету больше вокруг ни черта.

Только небо, бесцветное небо
да свободы крутой алкоголь.
Ничего персонажу нэ трэба.
Дайте занавес, кончена роль!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как хорошо, что нету дня!
Как хорошо, что нет Петрова!
как хорошо, что нет меня
И ночи нет...

Одно бесформенное слово.
2001



МОЛЧБА

(АНТРАЦИТОВЫЙ ЦИКЛ)

ГО-РЕЧЬ

Есть горечь чувств. Есть горечь языка.
 Есть горечь музыки. Есть горечь сострадания.
 Скользит в мозгу безумная река,
 зеркальная змея самосознания.

МАНИФЕСТ

Я – безумье предсмертного шепота,
 антрацитовый блеск темноты,
 постановщик летального опыта,
 рисовальщик последней черты.

Школу детского страха-отчаянья
 ностальгически вспомнишь теперь,
 когда в бездне ночного молчания
 Иоаннов завозится зверь.

БЕССОННИЦА

В мозгу постылый монолог.
 Четвертый час. Чудные звуки.
 Вот грузовик куда-то поволок
 шестнадцать тонн вселенской скуки.

Кровать – двуногого удел.
 Большой станок самопознания.
 Мой сон, куда ты улетел,
 свои не выполнив задания?!

Дай захлебнуться в немоте,
 забыть о диктатуре слова
 и плыть в кромешной темноте
 в столицу света – Ка-Ю-Ко-Во.

МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ

Нам надо научиться умирать.
 Нам надо научиться плыть за снами.
 Корабль-кровать, корабль-кровать!
 Мы – паруса под простынями.

Я ночью мозгу говорю,
 открой сознания ворота,
 дай выплыть мысли-кораблю
 в другое что-то.

ЯЗЫК ЦВЕТОВ

Спи с умом, сказала роза
 гиацинту и левкою,
 наша жизнь – только греза
 пустота пред пустотою.

Бесполезны слух и зренье,
 им не справиться с игрою.
 Наше бедное виденье
 было вызвано тщетою.

Лишь душе одной понятны
 танцы праздного эфира.
 Мы во всем невероятны,
 мама милая, могила!

УЗНИК ЗАМКА Я

*Андрею Жукову,
 нейрореаниматологу и фотографу*

Мозг прозябает в одиночестве,
 в коробке мрачной черепной.
 Он не имеет даже отчества,
 не ведает про выходной.

Играет с клетками-нейронами
 всю нашу жизнь напролет.
 Такими вертит миллионами,
 что жуть берет.

Машинка мировой реальности,
 крути кино!
 Плесни немного гениальности
 в мое темно.

ТЬМА И ТРЕПЕТ

В темно-синем вагоне метро
 аварийного света щипок,
 и скулит неврастеник Пьеро,
 как забытый на даче щенок.

Темнотой попирающий тьму
 антрацит созерцает окрест,
 трепеща приближаясь к тому,
 что не выдаст, но все-таки съест.

Не думай, бабка, о конце.
 Не думай, мальчик, о начале.
 Смешали нас в одном яйце
 густой космической печали.

ПЛАЧ

В моей душе тишайший плач.
 Он неизбежен, словно море,
 ведь никакой на свете врач
 не вылечит немое горе.

Мать угасает с каждым днем.
 Лежит прозрачная, как льдинка.
 Я говорю ей, поживем,
 мы поживем еще, снежинка.

Торчат из почек провода,
по ним моча ползет в мешочки.
Трудна дорога в никуда
для нашей брэнной оболочки.

Мне захотелось стать ничем:
ни ветром, ни горой, ни полем,
а просто сразу всем-всем-всем,
пустым паролем.

Покориться неизбежности,
посмотреть в глаза судьбе,
позабывать телячьи нежности
и не думать о себе.

ЗВУКИ ГИБЕЛИ

Снова ветер развлекается
с птичкой маленькой, душой.
Вот, глядите, кувыркается
над пучиной... Ой-ё-ёй!

Машет крылышками, глупая,
хочет море одолеть.
Волны плещутся над трупами,
пляшет пьяненькая смерть.

Жизнь гибелью озвучена.
Не бросай, мертвец, бразды.
Круто музыка закручена.
Ох, не спрячешься в кусты!

Бог – музыка, которая в частицах нам досталась.
С ней резонирует башка,
сердечко, фаллос.

Борису Кипнису

Нас музыка от смерти не спасет,
и не поможет царственное слово.
Сама в себе вселенная живет.
Бессмыслица – судьба Иова.

Во мгле мерцающий глагол
не остановит звезд вниманье.
В прах замурован был щегол
не в милость и не в наказание.

Но если в птичьем мозгу
вдруг вспыхнет спичка вдохновенья,
что делать ей?! Ку-ка-ре-ку!
Чирикай, брат, стихотворенье.

Бессмыслицы ночной полет,
танцует антрацитовая фея.
Вселенная – безумия оплот,
мычанье бабушки Орфея.

В хрустальных сферах сверх-всего
давным-давно умолкла fuga,
и воет нам из не-пойми-чего
вселенной антрацитовая вьюга.

Он бездне «ты» говорил,
смотрел на нее, как на бабушку.
Много пролил чернил
на бледную, ох, бумагушку.

Реальности сериал
ему не испортил зрение.
Всю жизнь свой дом искал.
Большое имел терпение.

Кучкуются звезды на небе.
В траве шебуршат муравьи.
Реальность свершает набеги
на бедные мозги мои.

Понять ничего невозможно
на этой прогорклой земле.
Сознания лучик ничтожный
пульсирует в теплой золе.

ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА

Мир, как будто лампочка запаянный,
раскаляет вольтову дугу.
Паровозик жизни неприкаянный
в замкнутом фланирует кругу.

Бог молчит. Он партизан отчаянный.
Тайна не достанется врагу.
Истины холодная испарина
выступает медленно на лбу.

МОЛЧБА

Космос веет крутым одиночеством,
непреложным покоем тщеты,
не считаясь с белковым высочеством
кружит холод своей красоты.

Подчиняясь сложившейся практике,
не имея в виду ничего,
вертит листья ветрило из Арктики,
и помалкивать лучше всего.

2002

СПб, Черная

*е
ч
к
а*

ПОМИНКИ ПО ГУТТЕНБЕРГУ

Этих букв замерзающий сад,
шелковистой виньетки шнурок.
Ты хотел умереть невольно,
ты хотел умереть между строк.

Я хотел умереть... Виноват.
Я хотел умереть и не смог.
Этих букв замерзающий сад,
шелковистой виньетки шнурок.

Расползаются смыслы по швам.
Это имени смертная боль.
Дайте маску скорее...

– Не дам!

Лицедей, ты не выучил роль!
Ты утратил могущество сна,
Заклинаний забыл лепестки
И поэтому сходишь с ума
В чернокнижной пустыне тоски.
Ты покинул пленительный сад
И от дома ушел далеко
Наблюдать, как глотает закат
Белоснежных ночей молоко.

В чистом поле мерцает тропинка,
облака серебристого пуха,
на дрожащей травинке – росинка:
инвентарь абсолютного духа.

Мне надоело повторять слова,
столь опустело их значенье.
Воздушный шарик, голова,
летит в обратном направлении.
Туда, где первобытный Бог
не обронил еще ни слова,
где не раздался жизни вздох,
где все ни старо и ни ново,

где мир бесхитростно един,
 где нет ни голубя, ни гада,
 где над волнами дух один
 и даже Библии не надо.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Надо остаться, остаться нам,
 надо остаться во мгле,
 чтобы предаться последним снам,
 последним снам на земле.

В небе появится светлый храм.
 Светлый храм в серой мгле.
 Надо остаться, остаться нам
 в последнем сне на земле.

ПОМИНКИ ПО ГУТТЕНБЕРГУ

Книга уплывает... Лишь страницы
 тихо плещут в зеркале воды.
 Белые сверкающие птицы,
 черных букв сплюсненные лбы.

Книга уплывает... Час затмения.
 Тьмой объята Запад и Восток.
 И влечет ковчег стихотворенья
 Мировой, безудержный поток.

*Достану души четвертинку,
 обнажу прозрачное горло
 и покажется небо с овчинку, прыгну...*

Поплыву в золотом океане,
 рядом белых китов вереницы.
 Никакой тебе маленькой бани,
 никакой тебе затхлой больницы.

Нескончаемо тянутся воды,
 ветер-слово над ними грохочет.
 Инфернальные танцы свободы.
 Все. Сознание уже не лопочет.

2002-2003

КОЕ-ЧТО ОБ АКСЕЛЬРОДЕ

Хотел стать ангелом... И вот,
живет на свете аксельрод.

Рисует тушью кучу тел,
а сам почти уже истлел.

В китайской гуще плещет свет.
Он ярк так, что смысла нет.

В тертуллиановом краю
мычу я песенку мою.

На работу еду, еду,
на работу в никуда.
Буду я работать в среду,
а потом опять когда?
А потом, пардон, в субботу.
А потом во вторник... Черт!
Едет, едет на работу
вечный сторож аксельрод.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

За стихии плачу по счетам.
Газ зажгу и поставлю водицу.
Поднимается пар к небесам,
Н₂O превращается в птицу.

Ну, а я превращаюсь в ничто,
созерцаю пейзаж осторожно,
погружаюсь, подобно Кусто,
в ту пучину, где выспаться можно.

КОТ В МЕШКЕ

С телом один на один
некий живет господин.

Слушает сердца толчки.
Смотрит на мир сквозь очки.

Страшно разинув свой рот,
вселенную жрет аксельрод.

Пятясь назад сквозь кишку,
космос бурчит корешку:

«Ты – инфузория, брат.
Таких не берут даже в ад.

Ох, протоплазмы сопля!
Эх, inferнальная тля!»

Мысль мяучит в башке:
«Холодно в теплом мешке».

Живи, как земляной червяк,
не поддаваясь чарам мысли.
То электричества пустяк.
Заразы-мифы вдруг прокисли.

Сижу, лишившийся всего,
на ветхом стуле.
Похоже, Господи, того,
меня надули.

Я был наивным сопляком.
Ходил на Малую Садовую.
Дул кофе. Писал кипятком,
увидев девочку хипповую.

С приятелями пил вино.
Сидел часами на скамеечке.
Вот-вот одиннадцать. Темно.
Бренчат последние копеечки.

Эго-эго, и-го-го,
 почемучка ничего.
 Пятьдесят безумных лет
 вертит «я» велосипед.
 Надоело цепь крутить.
 Научи, Господь, не быть.

Научи, Господь, не быть.
 Надоело цепь крутить.
 Вертит «я» велосипед
 шестьдесят безумных лет.
 Почемучка ничего,
 эго-эго, и-го-го.

Слушай музыку пареной репы.
 Буль-буль-буль бесконечно родной.
 До чего перед нею нелепы
 все дела потеряшки земной.

Пища, смерть, кровь, любовь и разлука.
 Задан душеньке строй роковой,
 аксельрод извлечение звука
 в глубине тишины мировой.

ПЕРЕВОД С КОПТСКОГО

Распластает творец, как лягушку,
 аксельрода на смертном одре
 и отправят прохладную тушку
 отдыхать в гробовой конуре.

Будет ехать автобус лениво
 на свидание с черной трубой.
 Облака белоснежнее пива
 копать быстро доставят домой.

2003

СПб, Черная

е
ч
к
а

ВРЕМЯ-ВОДЫ

Крошится звезд голубая маца
в черные блюдца озер.
Этот спектакль сыграть до конца
нам предложил режиссер.

Тихо по небу ползут облака,
и петухи не кричат.
Правит свой бал мировая тоска.
Полночь. Апостолы спят.

Ноздря-вселенная и мальчик,
сидящий тихо у воды.
Он солнечный пускает зайчик
и не предчувствует беды.
Над ним нависло грозно небо,
реки мерцает полотно...
А был ли мальчик или не был,
природе, в общем, все равно.

Вот время-воды протекают
в прозрачной простоте.
Не знают, Боже мой, не знают,
их вечность – дырка в решетке.

Еще течет вода из крана,
и газ пылает на плите.
В конце мещанского романа
мы предадимся пустоте.

Здесь безусловные привычки
не пригодятся нам, друзья.
Учитесь жить впотьмах без спички
и песню петь без соловья.

Когда строку дыхания-звука
пересекает вдруг звезда,
еще острее наша мука,
еще таинственной вода.

В ней тихо плещет неизбежность
земной любви.
Плывет в лодчонке ужас-нежность.
О, се ля ви!

Любите мыльных пузырей
свободные паренья,
игру зверей,
стихотворенья,
шум набегающей волны,
зеленые листочки...
Вы все-все-все
любить должны
от соловья
до сингулярной
точки.

Сингулярность. Тщета всего сущего.
Мы играем в гляделки в ночи.
Человека, умеренно пьющего,
хлорофиллу времен причасти.

Дай мне мужество на одиночество,
на сиротство последних минут.
Нет ни имени больше, ни отчества.
лишь бессмертные числа цветут.

Цифры-цифры, кристаллы зеленые,
как сомнамбулы, бродят в башке.
Я гляжу на часы электронные.
Точка бьется в виске.

С цепи сорвались электроны,
и заскрипел песок в судьбе.
Физиологии законы
вдруг открывает вещь в себе.

Свечою оплывает тело.
Зубов крошится Парфенон.
Уже ложится тень предела.
Змея ползет, Лаокоон.

Борису Шифрину

Вот, молекулы сверкают
в теле стареньком моем.
Что они об этом знают,
размышляют ли о чем?

Надо с ними подружиться,
выпить грамм сто пятьдесят,
а потом пойти к девицам –
щупать атомный фасад.

Расспросить про электроны:
что да как и кто кого,
эргенны ль пю-мезоны,
кварки плачут отчего?

Где кончается природа,
начинается ничто,
что такое есть свобода,
космос, может быть, пальто?

Неужели примириться
с этой тусклою судьбой?
Человеком быть, синицей,
или стать самим собой.

Путь человека светел.
 Люди – это вода.
 Деревья – застывший ветер.
 Тело наше – труба.

Наша судьба – измена.
 Наши слова – ничто.
 Скоро грядет перемена:
 немислимое Не-То.

Душа постигла наконец свободу.
 Мизинец упирается в Ничто,
 хотя еще льют чувства воду
 сквозь мозга кружевное решето.

Чудесно быть, когда почти не дышишь:
 орнаментом становится мираж,
 мысль неподвижна, шорохов не слышишь,
 так слепнет в сумерках витраж.

Одомашнивают Бога
 много сотен лет подряд.
 Ерунды скопилось много
 у ребят.

Бог – строптивая скотинка:
 ветер в стойло не загнать.
 Что земля-то?! Порошинка.
 Ей назначено витать.

Просочится жизнь наша
 через фильтры темноты.
 Бульк! Сияющая чаша.
 В ней пузырик. Это – ты!

2004

СПб, Черная

е
ч
к
а

КОНЕЦ ФАНТОМА

ВСТУПЛЕНИЕ

Ветер гонит туман с полей.
Скрипит на зубах песком.
Хватит, хватит о ней.
Попробую о другом.

Падают листья, закапал дождь.
Я ничего не жду,
когда в себе ощущаю мощь
страшную, как Вуду.

Когда презираю свой смертный час,
естественный ход вещей.
Как же мне тошно глядеть на вас,
добрых честных людей.

В гнусное стойло загнан мир.
Блевотина от ума.
И затевает последний пир
неверующий Фома.

Выпьем, химеры, за этот бред,
его несуразный обряд.
С Фомою танцуют ни Да, ни Нет.
Он никому не брат.

ПЕСНЯ ПУТЕВОГО ОБХОДЧИКА

Все кончилось давным-давным давно.
Я обхожу свои руины.
Не проросло в бессмертие зерно.
Не покорились мне вершины.

Я буду должен жить с людьми
и в общем умирать вагоне.
А так хотелось, черт возьми,
пожить совсем в другом эоне.

ПРАЗДНИК КОТОРЫЙ

Яма не за горой.
 Яма всегда с тобой.
 Я в этой яме лежу.
 Землю лижу.
 Жужжу.

МЕНЮ МЕНЯ

Рано утром открыть глаза.
 Привет, мировое пятно.
 Еще ползет по щеке слеза.
 Темно.

Ну, что там на завтрак предложит душа,
 какую такую боль?
 Радости в этом меню ни шиша.
 Да здравствует алкоголь!

ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

Что Новый год?! Бесовское занятие.
 Вгрызаются петарды в темно-синий свод,
 как будто совершается зачатъе.
 Горит небес залапанный живот.

Флирт с циферблатом – некрофильский праздник.
 Фригидней время, чем альпийский лед.
 Так освещай поярче, старый безобразник,
 марш стрелок-гильотин, кромсающих народ.

Прострация. Такая пустота,
 что умереть не страшно.
 Остановилась суета
 и все не важно.

Еще не труп, но точно не жилец,
 бреда с работы в ад родного дома,
 в мозгу звенит название «Конец
 фантома».

АПОЛОГИЯ ЛЮБВИ

В любви не бывает излишеств.
В любви не бывает греха.
Из чресел бессмертие выжав,
трепещут самца потроха.

Под ним яйцеклетка нагая
визжит, словно раненный зверь.
Ну, вот ДНК дорогая,
все кончено. Что же теперь?

*ПОСТСКРИПТУМ К СЕМЕЙНОМУ ФОТОАЛЬБОМУ,
ОТПРАВЛЕННОМУ В АРХИВ ИНСТИТУТА
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ГОРОДЕ БРЕМЕНЕ*

Ты был заброшен в бытие
по неизвестному приказу
и получил обличие свое,
как Ницше подцепил заразу.

Теперь в личинке должен жить.
Бессчетно шнуровать ботинки.
Нет, этот ужас не постичь
ни в зеркале, ни в фотоснимке.

ПОСЛАНИЕ ОТ БУБЛИКА

Во мне так мало моего.
Меня соткали из другого.
Поэтому комичнее всего,
когда вдруг распускается основа.

Едва надкусишь ломтик никого,
все начинается ab ovo
и там, внутри зиянья твоего,
забрезжит снова чья-то vita nova.

Да здравствует святое Ничего!
 Непознаваемо-смешное.
 В нём всё свободно от всего.
 От бублика посланье неземное.

Похоронили в языке.
 Словами мозг поднакачали.
 В нём, будто в черном воронке,
 влачусь во глубину печали.

Голгофа смертного – глагол.
 Слепцы, мы видим только звуки.
 Замкнулся мысли коридор.
 По кругу мчатся глюки, глюки.

Живем в завязанном мешке,
 чужими упиваясь снами.
 Мы, погребенные в башке,
 стучим по черепу стихами.

Внутри вселенной спрятали меня.
 Зарыли в космосе. Сховали.
 А мимо, латами звеня,
 несутся всадники в неведомые дали.

Куда, зачем летят они,
 на поводу каких вибраций?
 Здесь, на земле, проходят тускло дни мои
 в тумане пьяных экзальтаций.

Мне опостылел человеческий канон,
 орбиты тварей окаянство.
 Гвидон был прав, когда он вышел вон.
 Долой трехмерное пространство!

Вот осенью приятней умирать.
 Уйти во тьму, под ручку взяв природу.
 Как хорошо листом опавшим пасть
 в летейскую беспамятную воду.

Покинуть гордые слова
людьми придуманного мира
и пролететь сквозь жернова
непостижимого эфира.

Забуть навеки, как зовут,
избыть трехмерное пространство.
Явиться к Господу на суд
с пустой сумой, без самозванства.

ШКУРКА «Я»

В биомассовом болоте
мы пускаем пузыри.
Тонем-тонем в теплой рвоте
по приказу раз, два, три.

Люди-люди. Стадо-стадо,
О, бараны! О, друзья!
Вот последняя отрада.
Я сжигаю шкуру «я».

ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ

Мне Бог открывается в бездне
густой, словно снег, темноты.
Нет в мире Его бесполезней.
Нет чище Его пустоты.

Захочешь уйти невозвратно,
тогда попытайся зажечь
огонь антрацитовый. Пятна
заменяют сознание и речь.

Сумей насладиться игрою
абстрактных начал ничего.
Простясь с мировую тоскою,
артист, воплотись в никого.

Когда переступил черту
и знаешь: больше нет возврата,
исполни детскую мечту,
найди астрального собрата.

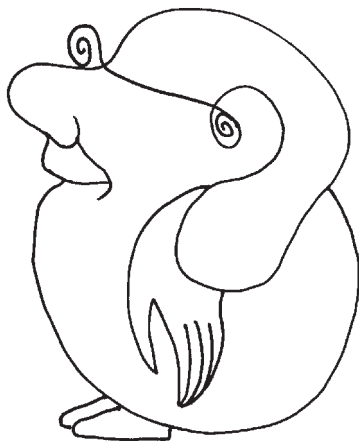
С ним вместе бегали в Раю,
потом летели в бездну эту
и вот застыл ты на краю,
уставясь в Лету.

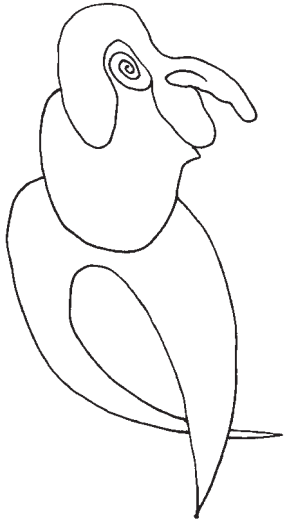
В той антрацитово́й реке
мерцают предков силуэты.
В небытии, как в гамаке,
пряят поэты.

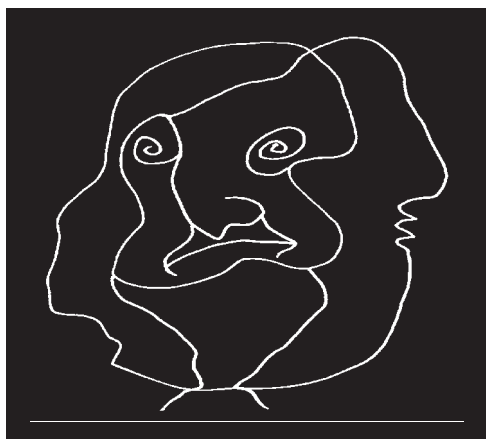
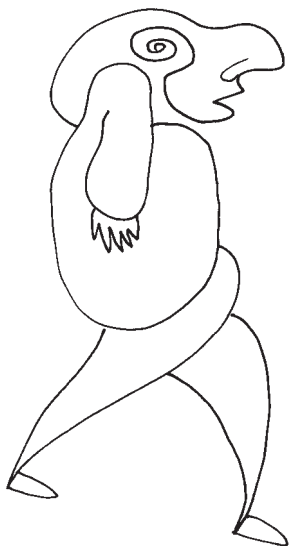
Навстречу тянется рука.
В ответ протягиваю руку.
Во сне сомкнулись берега.
Спасибо кавалеру Глюку.

2006–2007

СПб, Черная
е
ч
к
а







ГУЛЯЕТ МОЗГ ПО УЛИЦАМ СЕБЯ

Стало сало. Сало стало.
Жиром будете дышать?!
Все пропало! Все пропало!!
Отступила благодать.

Скорбный час отлива духа.
Мелководье. Берег пуст.
Собирает хлам старуха.
Вдалеке дымится куст.

Нелепая привычка жить
нам помешала быть богами.

В цепь превратилась Ариадны нить.
Мы стали псами.

Лаем в гулкой пустоте
лабиринта.

Кто ступает в темноте,
чей он сын-то?

Приближаются шаги.
Звонче цепи.

Не скулите «помоги»
в склепе.

Кушай-кушай ментальное варево,
бесконечно-безумный поток.
Проговаривай, мозг, проговаривай
неотвязный ночной монолог.

Кружит-кружит пластинка проклятая,
повторяя все те же слова.
Сохраняет подушка измятая
сумасшедшей твой след, голова.

Лист одинокий висит, как Иуда.
Воет циклона волчок.
Тусклого неба давящая груда.
Лужи чернильный зрачок.

Ужас агонии в сморщенных рожах.
Отблеск последнего дня.
Ветер ноябрьский лупит прохожих
крупной шрапнелью дождя.

Скоро темнеет в культурной столице.
Блестит фонарей чешуя.
Может, мне, глупому, все это снится,
может быть, это не я?

Гуляет мозг по улицам себя,
сквозь щелки глаз разглядывая нечто.
Частиц потоки, чувства теребя,
играют в разум бесконечно.

Мы впитываем магму слов и снов,
как молоко из материнской груди.
Не ведая, что нет у нас основ.
Воронки мы, воронки, а не люди.

Со мной умершие друзья
сидят за столиком пустым.
Я пью, а им уже нельзя.
Земля колеблется, как дым.
Я пью и говорю слова,
которые не смог сказать,
когда еще была жива
старуха мать.

Сижу на диване поддатый,
в мерцающий глядя экран.
Там тенор, толстяк бородатый,
полощет гортани стакан.

Взлетают прозрачные звуки
из темной утробы туда,
где вместо гранита науки
сверкающих формул вода.

Давно ничего не читаю.
 В слова надоело играть.
 Пью водку. На пятнах гадаю.
 Бросаюсь в пучину, кровать.
 Несет меня бурное море
 Сквозь сон неизвестно куда.
 И в этом безбрежном просторе
 ты тоже, ты тоже вода.

Нет низа и верха Вселенной,
 здесь север и юг не найти.
 Как молнии, тропы мгновенны.
 По ним невозможно идти.
 В мозгу словно в топке, сгорая,
 мерцает сознание во мне.
 Вселенная, мать дорогая,
 я – уголь в твоей целине.

В смиренной прозрачности утра,
 в густой непролазности я,
 восходит «Алмазная сутра»,
 собой заменяя меня.
 И слышу откуда-то нежный,
 безумия сладостный зов:
 «Ты видишь лишь только одежды
 глазам недоступных миров».

Ныряйте глубоко, глубоко.
 Ныряйте до самого дна.
 Все прошлое станет далеко.
 Все точное станет волна.
 Став ветром в свободном порыве,
 ты – избран. Так прыгай с ума.
 Не бойся. Не стой на обрыве.
 Тебе здесь не жить, кострома.

2008

СПб, Черная
 е
 ч
 к
 а

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

Блаженств блаженство – бабье лето,
когда еще из теплой синевы
пронзает луч живого света
желтуху мертвенной листвы.

Пока еще похож на человека,
пока еще на древнем языке
ты говоришь о том, как ехал грека,
ища ракообразное в реке.
Пока еще не перешел границу
словами изувеченной земли.
Пока слепую, старую синицу
брезгливо облетают журавли.

Секут секунды
бедное меня.

Живот растет.
Спит слава у порога.

Я выношу ей
молока немного

в прозрачном блюдечке
не-я.

Кто не проснулся никогда,
умрет счастливо.
Ему неведома беда
порыва.
Как ветер не завоет он
на взлете.
И не услышит перезвон
разбитой плоти.

Осколки мелкие блестят
в чернилах неба.
Считать по осени цыплят
нэ трэба.

АНТИ-ГАМЛЕТ

Редиска съедена.
Бананом закусить?
Удобно быть,
когда уже не надо.
И начинаешь смерть любить,
как пузырек из лимонада.

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

В башке седеющей кипит работа.
Мозг беспрестанно думает меня.
Осточертело. Неохота.
Остановите я!
Остановите я.
Остановите я...

Пространства скромное пятно,
скольжу куда-то. Все равно.

Ничейных мыслей пьяненький корабль.
Летейская танцующая рябь.

Бесформенность, лишенная имен.
Даосский неизбывный сон.

Фантазия для света и воды.
Местоимение, отринувшее ты.

2008 г.

СПб, Черная

е
ч
к
а

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

ПРОЛОГ

Много месяцев не пью.
Трезв невероятно.

Стало слову-воробью
в глотке неприятно.

Улетело вдруг оно
из сухой гортани.

Недопитое вино
сморщилось в стакане.

Сказали: «утро». Выпит чай. Смотрю в окно.
Плетутся в школу дети.
Сознание заработало. Оно
болтает обо всем на свете.

Мозг этой сказкой сыт давно.
Шахерезада хлева сновиденья,
миф подстелил соломки, но
художественный свист грехопаденья
не смолкнет в нас,
заброшенных
сюда.

Мозг повернулся в не туда
и над собою усмехнулся.
Извилины, идти теперь куда,
когда сознанием поперхнулся.
Когда пожухли все слова,
язык угас, – мираж в пустыне,

и протоплазма, как трава,
колышется в немой машине
торговой марки «akselrod».

Прощай, братишка-существо,
которое когда-то мной назвали.
В последний раз почувствовать родство
на крохотном земном вокзале.

Покинуть теплый тварный кров,
пройти тропюю смертной муки
и перестать добычей быть для снов,
материалом для науки.

Как хорошо...

Чувств пятипалых трепыханья.
Марионетки мозга – сны.
Базарный зуд существованья.
Душа в покровках темноты.

Так надоело ей дивиться
на пляску кукольного я,
что стало эго сторониться
само себя.

Смирненное прозрение себя
омоет мозг холодными волнами.

Отпустит душу каторжное я,
звеня сознанья кандалами.

Нет в театре кукол больше никого.
Пуста адамова порода.

В себя вбирает Fater Ничего
ничто бориса аксельрода.

AVRORA BOREALIS

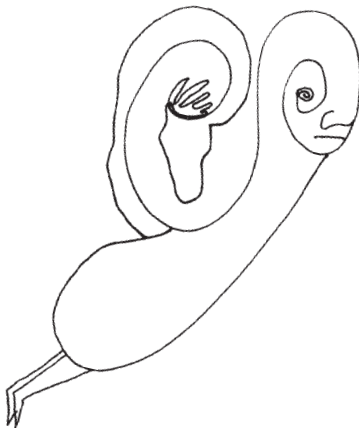
(СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ)

Живет в гостях у самого себя,
кто в человека не поверил.
Всегда скользит под ним земля,
и в голове сияет Север.

Ничтожный малостью своей,
которой нет у остальных в помине,
он там остался, до смертей...
В сухой, растрескавшейся глине.

ЭПИЛОГ

Мы – пузырьки Господа Бога.
В стакане нас много.
Поднимаемся медленно вверх.
Там сознание лопнет у всех.

*февраль – июнь, 2009**СПб, Черная*е
ч
к
а

ДОРОГА ДОМОЙ

На краю тишины-одиначества
развлекается Маугли-мозг.

Неразборчиво шепчет пророчества,
растопляет сознания воск.

Как изменчивы эти создания,
что под черепом плавно плывут.

Не бывает застывшего знания.
О, Текучесть, учебники врут!

В земных и прочих снах катаясь,
крутя баранку головы,
ни чуточки не напрягаясь,
мозг изменяет нам умы.
Из этой гонки нет возврата.
Ночное ралли в никуда...

Вдруг! Утра желтая палата,
глазная, грубая еда.

Задыхаясь в незримой петле
всех иллюзий прошедшего времени,
мозг раскроет со скрипом, во мгле
ворота проржавевшего темени.
В твердой памяти, ум не щадя,
переменит шкалу восприятия.

Наблюдай исчезающий облик себя,
изумительны эти занятия.

Все движется сквозь всех всегда.
Дороги формула непостижима.

Но кто захочет добредет, не без труда,
по сумрачным извилинам до Рима.

Что делать там? Вот в чем вопрос.
Для вечности пылинка не готова.

И каждый наг, и каждый бос
пройдет свой курс на гноище Иова.

В последней малости болезни,
в последней бедности времен,
уже летя в разверстой бездне,
мы вспоминаем жизнь-сон.
Нам тело преданно служило.
В нем долго мучилась душа.
Все это было, было, было...

Бац! Нету больше ни шиша.

Господь накроет медным тазом.
Заданье смертному – молись!
Шурши впотьмах дикообразом...

А если сможешь, загорись!
Найди в себе искру рассвета.
Гранату мозга запали,
взлети безумно, как ракета,
над мыльным пузырем земли.
Достигнув смертного предела,
я перестанет быть тобой.
Бесшумно выскользнет из тела
другой.

Домой! Домой!!
2009 г.

ПРЫЖКИ И ТАНЦЫ

1. ТАНЦЫ

ТЕМНОЕ ТАНГО

После себя остается немного:
кожурки понятий в углу,
имя немое Бога,
запрятанное в золу.

Пепел завертит ветер.
Там затанцует ты.
Гибче всего на свете
талия темноты.

НЕБОЛЬШОЙ ВАЛЬС

Что ты, эго поганое, ленишься,
почему ты не стерло лица?

От судьбы никуда не денешься.
Протанцуй свой маршрут до конца.

Вальс галактик в сознании кружится.
Дирижирует дедушка Рок.

Протоплазмы зеркальная лужица
испаряется сквозь потолок.

ДИВЕРТИСМЕНТ

Быть человеком мозгу больше неохота.
В нас мысли-пули носятся, свистя.
Пожизненна дуэль-работа
по отрицанию себя.
Наркоз всеобщий буквы я.
Балет an sich реципиента.
Скользит сознания змея,
как кинолента.

Дешевый фильм смотрим мы
и заливаемся слезами
внутри придуманной тюрьмы.

...Нет чтобы плыть за облаками.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ МИНИАТЮРА

Калейдоскопом хромосом
в танцклассе темной сути
закручен был извилин ком
первопроходцев теплой жути.

На сушу лезли из воды,
потом летели в небо,
распознавая код беды,
пропорции Эреба.

Прожарив мозг до черных дыр,
комета чувств погасла.
Опять абстрактным станет мир,
куда поэт был заслан.

Мирок твой лопнет, словно шар.

Сидишь на венском стуле
и ощущаешь черный жар,
вселенная в июле.

Не пляшет кукольный язык.
Туман молчанья манит.
И все к чему ты так привык
родным быть скоро перестанет.

Мирок твой лопнет, словно шар.

ПЛЯСКА СВОБОДЫ

Я вышло из ослиной шкуры.
 Теперь без кожи. Мозг в огне.
 Молекулы литературы
 еще мотаются во мне.
 В закатном таинстве природы
 все ярче неизбывный свет
 костра танцующей свободы,
 которой в яме мысли – нет.

2. ПРЫЖКИ

Запрыгивая в смерть,
 как в воду на закате,

Перебираем простыню рукой.
 Не холодно?

Волна небытия подхватит
 кораблик твой

с названьем неизбежным
 «Сам не свой».

Прыгай в небо из себя,
 прыгай в небо, сбросив я.
 Прыгай в небо не скорбя.
 Чем ты хуже воробья?

Прыжки и танцы на духу,
 непостижимые уму.

Прыжки и танцы на духу,
 пока не стерся ты в труху.

Прыжки и танцы на духу.
 Ку-ка-ре-ку!

Прыгни храбро на закате
в красный ультрафиолет.
Ты взлетает. На кровати
отслуживший драндулет.

Прыгай в радугу дождя,
в одиночку, без вождя.
Разрешенья не спросив.
Станешь ветер, будешь жив.

Эй, видишь мистиков светящиеся рати,
герои тайного труда,
они везде, всегда некстати.
Их не любили никогда.
В ночи своей искали Бога.
Там разбиваясь тыщи раз,
вперед ползли. Горит дорога:
тьму процарапавший алмаз.

SALTO MORTALE

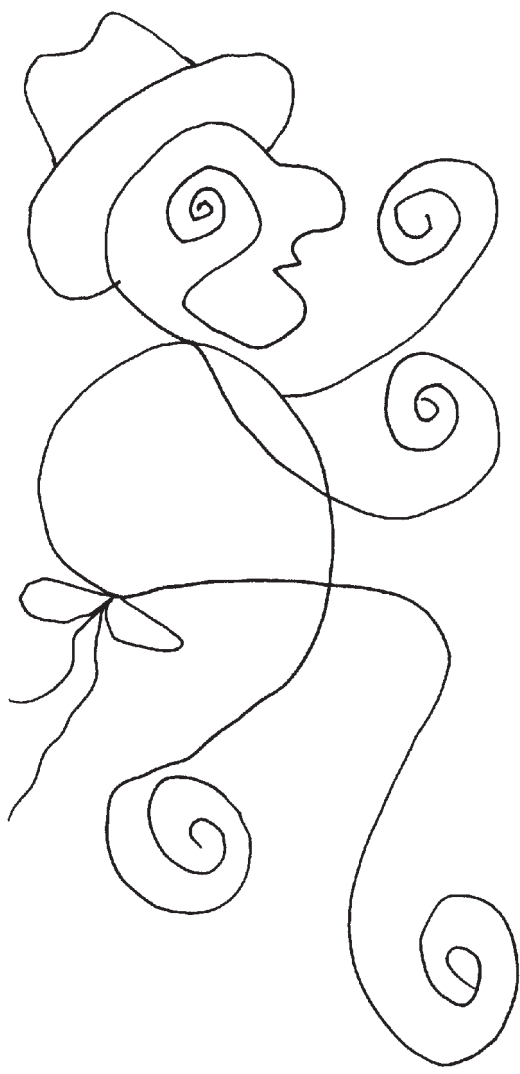
Сальто-мортале
в самом начале.

Сальто-мортале
в самом конце.

Сальто-мортале
в любви и печали.

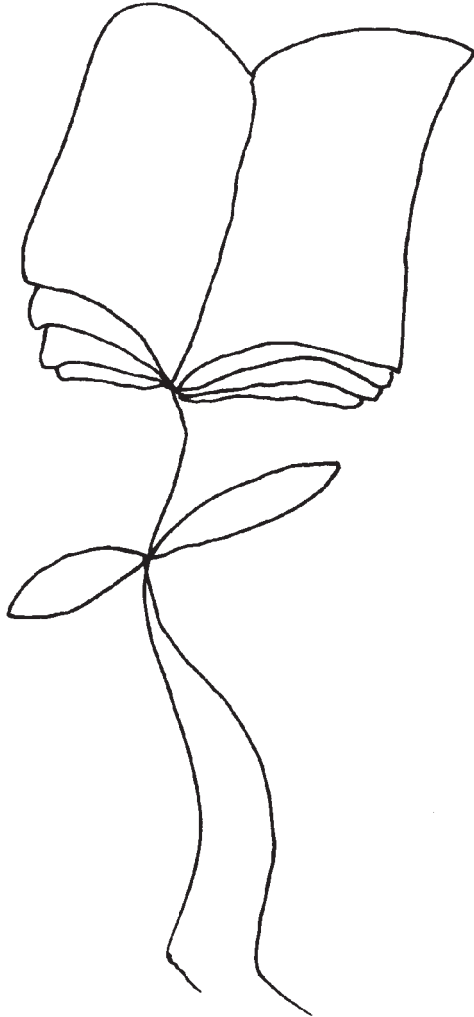
Сальто-мортале
в бездонном яйце.

Сам вышел из себя. Свобода.
Уже у жизни не внутри.
Над пепелищем генетического кода
летают молний шаровые снегири.
2009 г.



СТИХИ ИЗ КНИГИ «ВОТ»

1. Пролог
2. Стихи из книги «Вот»
3. Буддийские страдания
4. Небесная хирургия
5. Время действия
6. Озноб озона
7. Стихи про чтение
8. Моление о птичке
9. Эпилог



ПРОЛОГ

I

На другом берегу ты живешь
в перламутровой башне,
покрывало небесное ткешь,
письма пишешь на яшме.
Проплывают внизу облака,
спит луна у решетки балкона.
В белоснежные прячась шелка,
на прогулку выводил дракона.
Он чернее кипящей смолы,
а язык – раскаленная лава...

Розовеют востока углы,
и в тумане горит переправа.

II

Серебряный зонтик раскрыв
(на шелке вышит был феникс),
Сбежала богиня из Фив,
пешком, без денег.

Томится бедняжка теперь
в туманной балтийской темнице.
Емеля ломится в дверь
и просит живой водицы.

Ленинград, 1979 г.

СТИХИ ИЗ КНИГИ «ВОТ»

Она читала наизусть псалмы.
 А на столе (pardon) свеча горела,
 пронизывая толщу тьмы,
 в стаканах тонких пламенела.
 В хрустальной пепельнице свет
 сквозь призму на свободу рвался,
 меняя форму, блеск и цвет,
 огонь метался.
 Вдруг из богемского стекла
 в субъекта луч вонзился.
 по сердцу Библия текла,
 и свет во тьме молился.
 Он *видел*: голос неземной
 сквозь сигаретный дым струился.
 Какая месса! Боже мой,
 дух над салатами носился.
 Все ближе был конец времен,
 В окошках небо пунцовело...

Как жадно выпил водку он,
 когда залез обратно в тело.

*Простодушная Кассандра
 в мозг влетает без скафандра*

На черта смертному любовь,
 что тупо тянется сквозь годы?
 Угаснув, вспыхивает вновь,
 как будто приступы погоды.

Мозг знает точно: никогда
 любви дурацкой не сбыться.
 Но почему же иногда
 она ему ярко снится?!

Татуированная плоть,
 горя, влетает в сновиденье.
 Кто смог так дивно проколоть
 ночное зренье?

Не тело – огненный цветок,
не листья – маленькие руки.
Мозг знает, это видит Бог, –
и слышит сфер небесных звуки.

Потом, проснувшись в темноте,
пульсации внимая близких,
мозг размышляет о тщете
существ заброшенных и склизких.

Пролетает над мирами,
сигарету сжав в зубах,
царь-пацанка под парами,
князь-воробушек, Пиаф.

Знали древние колена:
словом избранная плоть
избегает плена тлена.
Захотел того Господь.

В теле, будто бы в ракете,
мчит сквозь жизнь вольный дух.
На земле бушует ветер,
с ним танцуют прах и пух.

«Коммунистка» с темной челкой,
в красной кофточке, пьяна,
доставала с ветхой полки
пухлый том Карамзина.

Говорила о просторах,
нужных русскому стиху.
Ассасинах, мародерах,
разрушающих страну.

Заряжала пистолеты.
 На арабском скакуне,
 как гусары, как поэты,
 мчалась яростно во сне.
 Под копытами мерцали
 города святой Руси.
 Земли снова собирали
 не дружины, а стихи.
 Закален в глубокой вере
 наш мистический язык.
 Проступает в ноосфере
 русской сказки материк.
 Необъятная равнина,
 озаренная стихом,
 в дрейф отправленная льдина
 для свидания с Христом.

Под окном мычат машины.
 Видно вывеску «Павлин».
 Пыл неистовой Марины.
 Опаленный Карамзин.

В темноте дорога длинная.
 Вдоль нее летит душа,
 словно живопись старинная...
 До чего же хороша!

Я иду к ней в гости пьяненький
 из прокуренной пивной,
 в лапках сжав цветочек аленький
 и бутылочку «Ржаной».

За спиной трепещут крылышки.
 В небе месяца слеза.
 Не осталось больше силушки.
 Бал закончен, стрекоза.

В симфонии стареющей любви
 гармонии осеннего распада.
 Здесь соловьиных трелей не лови.
 Здесь плавные аккорды листопада.
 Здесь не журчат весенние ручьи.
 Холодный дождь накапливает глухо.
 Любовники, как земские врачи,
 к груди прикладывают ухо.

Скрыт в бесконечности чудесный,
 непостижимый знак любви.
 Влачась по жизни темной, грешной,
 ищи его, рисуй, зови!

Отмеченным нездешним знаком
 дано иное естество:
 до смерти быть опийным маком,
 боль превращая в торжество.

ТЕНЬ

В руках держала фолиант,
 читала Шварцмана реченья.
 Сверкала голова, как черный бриллиант.
 Престранное там было освещенье.

Вот абрис нежный. Духа тонкий срез.
 Тень на стене. В ней ангелы мерцали.
 Как много в этой комнате чудес!
 Они меня опановали.

Проявлена идея красоты
 в платоновом пещерном полумраке.
 На подоконнике продрогшие цветы.
 Январь. Петрополь. Год Собаки.

ВАРИАЦИИ НА ТРИ БУКВЫ

Сказала «вот» –
и стало это.
Сказала «вот» –
и стало то.
Сказала «вот» –
и стало больше света.
Сказала «вот» –
и я надел пальто.

По улицам темнющим шел до дома
и, спотыкаясь, думал: «Вот оно!
Опровергает яблоко Ньютона
проросшее в бессмертие зерно».

НЕПУТЕВЫЙ ОРФЕЙ

Метаться в гибельной весне
опальной птицей.
Искать любимую во сне
в психиатрической больнице.
Потом, проснувшись, выпить чай,
смотреть в окошко
и думать сумрачно: «Прощай,
эзотерическая крошка».
Напрялить саркофаг-пальто.
Купить газету.
Спуститься в лабиринт метро
и плюнуть в Лету.
Лететь сквозь обжитой Аид
в шуршанье крылышек «Известий»
и слушать, как душа вопит
на лобном месте,
на казнь-венчанье опоздав:
«My love!»

ДАО-СВИДАНИЕ

Во сне
он называл ее
маленькой.
Ему хотелось
взять ее на руки,
защитить от несчастий.

Наяву,
как человек немолодой,
он понимал:
помочь никому нельзя,
судьба predetermined,
рок неотвратим.

Но для сновидящих странников
мертвый тракт Немезиды –
всегда живая путь-дорога,
бесконечное дао-свидание.

МОЛИТВА

Такая малость мне осталась здесь...
Почти достигнув смертного предела,
я Господу взмолился: «Есть,
есть на земле божественное дело!
Молю, чтоб этот голос пел всегда,
Молю, чтоб не истлело это тело.
Пусть не услышу больше никогда,
но это пело бы и пело».

2005–2006

БУДДИЙСКИЕ СТРАДАНИЯ

I

ЗАВЯЗКА

Помог ей развязать шнурки
(Щенок–хитрюга их специально спутал.)
и угодил в любовные силки.
Теперь буддисту не до сутр.

II

Хотелось так постичь Ничто,
мечтал при жизни стать бродячим трупом.
Архаты, милые, за что
меня под старость бес попутал?!

Я страстно полюбил лису
и заблудился в сумрачном лесу.

III

Неловко
вымолвить
«люблю»

не перед ней,
перед собою.

Эмоций
детскую
соплю
окостеневшую
душою

так неудобно
унимать,

когда буддисту
50+5.

IV

Послушники, вот вам наука:
лиса прогрызла мозг без звука,
перевернула бытие,
украив сознание мое.

Горю, горю, мешок с костями.
 Без длиннохвостой мне не жить.
 Я перепутал явь со снами.
 Оборвана судьбы оранжевая нить.

V

Мелкий дождь накапывает нудно,
 мокрых листьев рыжее тряпье.

Из меня не получился будда,
 потому что я люблю ее.

Пусть обман земные наши чувства,
 Пусть они фантомы пустоты.

Пусть исчезнут разом все искусства,
 только бы жила и пела ты.

Пусть взлетают маленькие руки
 над равниной белого листа.

Пусть все сон и это только глюки,
 не бросай, побудь еще, лиса.

VI

ПЕСНЯ БЕЗУМНОГО НИЩЕГО

Мы столько раз пересекались
 в обличьях разных на земле.
 Дрались, влюблялись, расставались,
 по ветру реяли в золе.
 В такую даль уходит это,
 в такую глубь,
 два фуэте астрального балета...

Подайте рупь!!
 Подайте рупь!
 Подайте рупь.

2006 год

НЕБЕСНАЯ ХИРУРГИЯ

ИСПОВЕДЬ ВАРЕНОГО KREBS'А
(С ВКРАПЛЕНИЯМИ НЕМЕЦКОГО)

Нырнуть боялся в твой водоворот
почти до Alter'ы. Однако
прожив halb века, mein Got,
презрел трусливую повадку рака.

Я прыгнул. Ich еще тону
в котлах кипящих полушарий.
Я никогда тебя не прокляну.
Ich буду вечно благодарен.

«LIEB FRAU MILCH»

Чайки реяли визгливо.
Вещи бросив на бревно,
мы сидели у залива,
пили белое вино.

Море пахло терпким йодом,
изгибалось, как дуга.
Кто сомкнул под небосводом
наших жизней берега?

Бегал пес японский Хока,
черно-белый самурай.
Бог, не надо, раньше срока
этих двух не забирай.

ТРОЕ В РАЮ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ

Здесь рифму хоронил поэт.
Втроем сидели, пили виски.
Листвы оранжевый балет.
Старинный сад, приятель близкий.

Еще не падал с неба снег,
еще не холодно нам было.
Вдруг время оборвало бег
и с поводка нас отпустило.

Светило солнце целый день.
Мы, словно в юности, по городу гуляли
и смерти наползающую тень
опять почти не замечали.

Так сладко было вчетвером
блуждать по улицам былого,
как будто послезавтра мы умрем,
а не сегодня в полшестого.

Не говори о смерти никогда.
Ты не умрешь, а просто станешь словом,
глубоким и прозрачным, как вода,
переливающимся, новым.

Ты будешь жить, как ветер, как ручей,
везде, всегда, пока горит светило,
и голос твой всеобщий и ничей
вберут в себя нездешние чернила.

НЕБЕСНАЯ ХИРУРГИЯ

(КОНСПЕКТ)

Стою. Почетный караул.
Служу. Охрана демиурга.
Горит. Одежд ее пурпур.
В гранитной раме. Петербурга.

Раз в месяц. Вместе. Водку пьем.
Слова-слова перебираем.
Рисуем иероглифы. В альбом.
С японским хином. Хокусаем.

Уж полночь. Часовой в метро.
Мычит. Сжав голову руками.
Вранье! Какое там ребро...
Все выдрали! Эдемскими ножами!

ПИСЬМО НОСОРОГУ

Абсурдно наше бытие.
 Повсюду лысые певицы... Ионеско,
 ты знаешь, я еще люблю ее.
 Под старость это мерзко или дерзко?

Зачем осуществлял мечту?
 Зачем далекое приблизил?!
 Солдатик стойкий на посту
 вернется в лоно оловянной слизи.

Когда могла бы говорить
 ты на тактильном языке
 и просто кожей, кожей быть,
 глаза в руке.

Когда бы принимала ток
 взорвавшейся крови.
 Тебя иною создал Бог.
 Увы.

Я не скажу тебе «моя»
 и я не «твой», наверно, тоже.
 Мы не любовники, мы не семья,
 но почему же, Боже, Боже,
 в каких-то дальних уголках
 непостижимой нашей жизни
 встречались мы в иных мирах
 и друг у друга пили горькую на тризне.
 Парили вместе в облаках,
 блуждали по горам в тумане.
 Отбросив стыд, отринув страх
 переплелись своими снами.

То сновиденье-андрогин
живет вне нас, витая,
в тиши метафизических равнин
ворота рая прозревая.
Невыразима эта связь.
Такое избегает звука.
Миров иерархическая связь
и жизни тварной трепетная мука...

ЦВЕТОК И СФИНКС

(СОН-СТИХОТВОРЕНИЕ)

В конце опустевшей дороги
астральный цветок нахожу.
Хранят его единороги.
Я рядом, как сфинкс, возлежу.

Алхимия вечности – встреча,
судьбы инфернальный итог.
Кто знаком любви изувечен,
тому открывается Бог.

Звучит каббалистика странствий
на склонах библейских холмов
в его ослепительном трансе
грозой иудейских псалмов.

Приносит магический ветер
нездешней свободы глоток,
становится мрак его светел,
как в час предрассветный восток.

И все навсегда неизбежно,
и нечего больше терять.
Сквозь вечность кромешную нежно
сфинкс будет цветок созерцать.

Троеручица, Троеручица.
 Нежно-строгий Никольский собор.
 Так хотелось бы больше не мучиться,
 отменить приговор.

Сироту беззащитно-отважную
 на стремительной туче катать
 и слезинку, слезинку алмазную
 краем радуги ей утирать.

Черный кофе далекой галактики
 пить в ротонде на стыке миров.
 Миражи затуманенной Балтики
 вспоминать акварелями снов.

Троеручица, Троеручица.
 Нежно-строгий Никольский собор.
 Все получится, все получится
 смыслу здравому наперекор.

Восхищайся, душа, восхищайся!
 Первобытностью ритма играй.
 Растворяйся в строфе, растворяйся
 на пути в силлабический Рай.

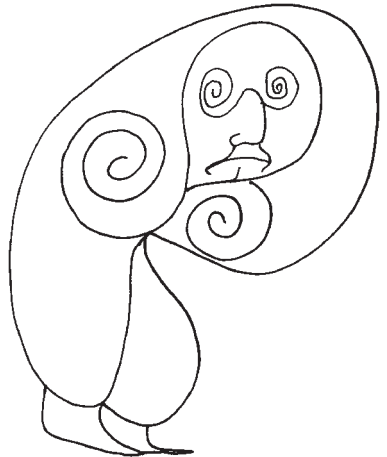
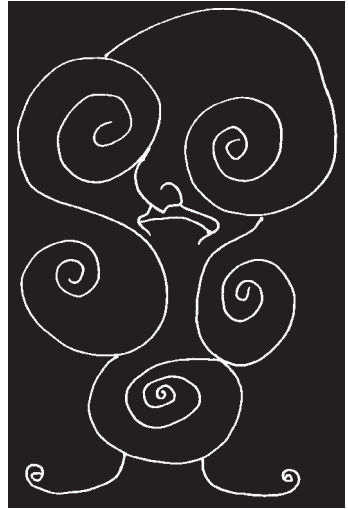
Будет ждать там тебя Алигьери,
 будет Эмили рядом летать.
 Числа, чувства, фонемы и звери
 станут хором стихи распевать.

Как жирафы, высокие звуки
 пронцают Эдема красу.
 Вот и кончились тварные муки.
 отпуская же на волю лису!

2008

СПб, Черная

е
ч
к
а





ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

Ночами нимфа плещется в ванной,
сквозь шум воды по телефону говорит
и в перепонке барабанной
прелестный голосок свистит,
как пуля, бьющая в висок.

ПАРАДОКС МАЛЕНЬКОЙ РАЗБОЙНИЦЫ

Маленькая разбойница
не только строптива, отважна, великодушна,
она феноменально женственна.

И при этом бежит от нее,
как черт от ладана:
«Хочу быть мальчиком!»

Стремительная и опасная, словно Артемида,
маленькая разбойница для немногих
разглядевших
ее ускользающий образ,

останется обворожительным,
вечно играющим котенком,
всегда разбивающим вдребезги

чужое сердце,
каноны,
собственную жизнь.

ВЕЧЕРОМ

Мы с ней летали над мостом,
над петропавловским крестом.
Внизу громадная река,
как лава, медленно текла.
Дворцы столпились у воды.
На водопое, сдвинув лбы,
так звери хищные стоят,
невиннее цыплят.

Не зарекаясь от сумы,
летали около тюрьмы.
Из камер нам махали эски
в татуировках, как ацтеки.
Широкой юбкою Кармен
сквозь тучи Запад заалел.
Хозе на лавочке сидел.
Таможенник не пил, не ел.
В луче закатном нож блестел.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

Кто он? Звонящий по утрам
сомнамбулической богине.
Смешон себе будильник сам:
на стрелках проступает иней,
ржавеет корпус, треснуло стекло,
звенят куранты тяжело,
пружина слабая, у шестеренки стерся зуб...
Так почему они идут?!
Что движет сей анахронизм?

Любовь вращает механизм.

2005-2007

СПб, Черная

е

ч

к

а

ОЗНОБ ОЗОНА

I *КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ*

Безумие глядеть в глаза,
где никогда не отражаюсь.
Внутри хрусталиков вселенская гроза.
О, шаровая молния, я наслаждаюсь

разверстым гробом в письменном столе,
мерцаньем Мельпомены в каждой ноте
и даже, если вы навеселе,
шуршат котурны в анекдоте.

Трагедия. Последняя. Живет
не в Греции, в какой-то 5-ой роте,
и я, как птенчик, разевая рот,
глотаю катарсис. О, молния в болоте!

II *ОДА БУМАЖНОМУ САМОЛЕТУ*

С младенчества
Трагический полет.
Курс – бесконечность.
Мозг, как мотор,
во тьме ревет.
Пилот – беспечность.

Эпохи, царства, города
внизу простерлись, словно свиток.
Слов омертвевшая руда
в ее устах горит, как слиток.

Лети, бумажный самолет!
Гроза творенья
стихи на крыльях не сожжет.
Неистребимо песнопенье.

Ты, неподвластный притяжению зла,
паришь сквозь горних снов громаду,
ища молчащего Отца
всей мощью дара, до упаду.

III *ОГНЕННЫЙ КОВЧЕГ*

Парусов горящих знамя
Волн багровая толпа.
Ты была всегда, как пламя,
под созвездием Креста.

Мрак-огонь, чернила света
выжигают стих в ночи.
Замерцала наша Лета
угольком в большой печи.

Льют миры плавильня Бога.
Бесконечна смена вех.
Смысл текуч. Искрит дорога.
Слов костер – ковчег для всех.

IV *ЖИВАЯ МОЛНИЯ*

Она должна была сгореть,
но не сгорела.
В живую превратилась печь.
Дуэтом с пламенем запела.

Духовной нежностью стихи
озарены во мраке.
Сидят у печки женихи,
любви обугленные знаки.

Глядят в танцующий огонь,
не отрываясь, не моргая.
Купают в пламени ладонь.
Рука дымится, как Святая.

Трещат поленья в тишине.
 В мозгу гроза, гроза без края.
 Все в ослепительном огне.
 Вселенная, ты – молния живая?!

V

ОЗНОБ ОЗОНА

Дельфийский воздух правил бал.
 Гиперборейской пифии дрожали руки.
 Эол, как парус, душу рвал,
 чтоб бились в ней магические звуки.

Медовый рой ее фонем
 вибрировал на зависть Страдивари.
 Она хотела стать всем-всем.
 Озвучить бездну каждой твари.

Строф обжигающий комок
 бурлит словами.
 Бац! Философский камень потолок
 прошиб провидческими снами.

Безумная алхимия ее
 меня всю жизнь восхищала.
 Небытие и бытие
 на равных в рифмах клокотало.

Греми, греми, ментальный гром!
 Сверкай зигзаг над древними томами!
 Все переплавится. Потом
 поэты станут облаками.

Озноб озона – занавес грозы.
 Молчит вселенная стихами
 и древнегреческое бляенье козы
 разносится над влажными полями.

2006–2007

СТИХИ ПРО ЧТЕНИЕ

I

Лью «Вино седьмого года»,
темно-красный сок земли.
В нем отчаянья свобода.
Наших жизней пузыри.

Горько-сладкого напитка
пью целительную тьму.
Это космоса попытка
через стих взорвать тюрьму.
24.10.2007.

II

Вот было чудо из чудес.
Она воистину горела.
Ослеп от света мелкий бес.
Парило пламенное тело.

Ее библейские стихи,
как наводнение, прибывали.
Дух разжимал висков тиски
и серафимы в окна залетали.

Молитвы-молнии, пронзающие зал,
кириллицы магические грозы.
Здесь каждый шкурой ощущал
нездешний код метаморфозы.

Как будто к нам спускался Бог
в сиянье Ветхого Завета
и кто посмел, провидеть смог
Первопоэта.

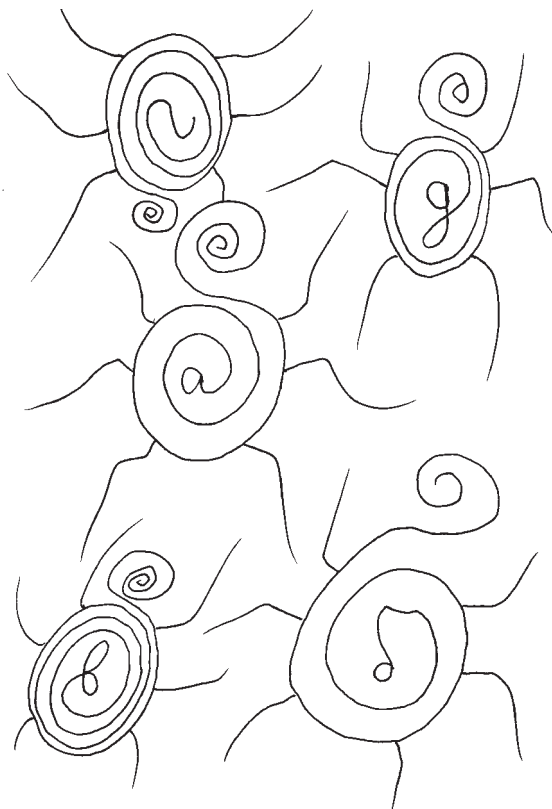
Лавинии прощальный взгляд.
Еще в мозгу сверкают звуки.
А, может, то архангелы трубят.
Какая мощь! Какие маленькие руки.
25.05.2008

III
ШАХИДСКАЯ КИРИЛЛИЦА

Читаю медленно Елену Шварц.
Вот первый том, трехсотая страница.
Над Гангом воспарила птица,
сжимая в клюве синий глаз.

Как будто буквы вижу в первый раз.
Бегут букашки по бумаге,
взрываясь в яростной отваге
для нас.

ноябрь 2009



МОЛЕНИЕ О ПТИЧКЕ

Самурай,
не умирай,
Ты еще
увидишь
Рай.

Вместе
с нами
поживи
на пузырьке
Земли.

До свиданья,
не прощай,
самурай мой,
самурай.

11.09.2009

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Бахилл презервативы.
Казенный шур-шур-шур.
Летальные мотивы.
В уборной перекур.

Больничная палата.
Высокий потолок.
За что такая плата
для псалмопевцев, Бог?!

Взъерошенная птичка.
Огромное окно.
Закат горит, как спичка.
Становится темно.

Широкими волнами
Нева летит в залив.
А в бездне, там, над нами
стихов твоих курсив.
28.10.2009

МОЛЕНИЕ О ПТИЧКЕ

Врачи ее резали.
Не зарезали.

Муж бил.
Не убил.

Машина сбила.
Не задавила.

Квартира сгорела.
Она уцелела.

Кроха эта певучая,
птичка живучая.

Господи,
малую
защити.

Господи,
горластую
сохрани.

Певчее
пламя
спаси.

Темных
людей
пощади.

Господи...
19–20.11.2009

Когда ничем нельзя помочь
 любимым существам,
 в душе царит глухая ночь
 с безумьем пополам.
 Ты вопрошаешь у Него,
 как малое дитя:
 «Ну почему, ну отчего
 помочь нельзя?!»
 И задыхаешься в силках
 бессилья своего,
 и не смыкаешь глаз впотьмах,
 уставясь на Него.
 Молчит во мраке темный Бог.
 Душа горит-болит
 и жизнь тяжелая, как вздох,
 на ниточке дрожит.
 28.11, 22.12.2009

ВТОРАЯ БОЛЬ

Исхудавшая маленькая девчонка,
 шестидесяти с небольшим лет,
 угасает на глазах.

Умерев,
 поседевшая колибри
 будет большим поэтом,
 томом в этой библиотеке,
 книгой в ЖЗЛ.

Вторая боль
 после мамы.
 февр., март. 2010

– С добрым утром. Привет!
 – Меня почти нет.

 – Как ты спала?
 – Опять не умерла.

- Ты вставала?
- Какое тяжелое одеяло.

- Что-нибудь ела?
- Это не мое тело.

- Лекарства принимала?
- Плоти стало так мало.

- Может быть, вызвать врача?
- Лучше палача.

- Кто там у тебя говорит?
- Это телевизор шумит.

- Вечером забегу в гости.
- Смотреть на мои кости?!

- Я позвоню еще.
- Тело уже ничье.

- До свиданья. Пока.
- Плохо двигается рука.

- Я тебя люблю.
- За что от Бога терплю...

Короткие гудки.

12.03.2010

ЭПИЛОГ

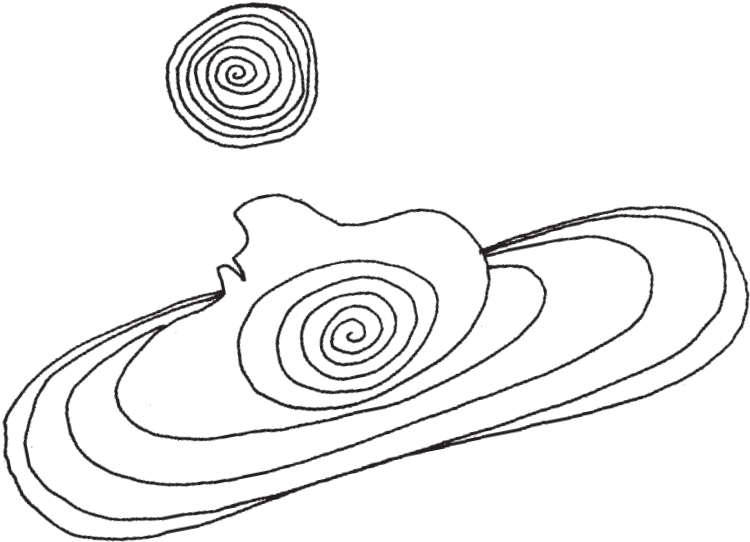
И даже в тех краях,
где ничего и ни гу-гу
растут в ночных полях,
я буду медленно идти,
наощупь, руки врозь,
сквозь душ густое конфетти.

Ты здесь, любовь...

март 2010

БОЛОТНОЕ СЕРЕБРО
посвящается Надежде

1. Брат облаков...
2. Первая тетрадь
3. Козлиное копытце
4. Чайная церемония
5. Письма к брату
6. Мадригалы осени
7. Разные стихи
8. Болотное серебро



БРАТ ОБЛАКОВ...

Брат облаков, камней и мотыльков,
далекий сын праматери Свирели,
я говорю на языке цветов,
слова влагая в тело птичьей трели.
Переплелись загадочно во мне
миров Господних трепетные нити, –
я музыка, живущая в огне,
песчинка во вселенском сите.

И век за веком в тигиле земли
Бог разлагает плоть Иова,
пока не воспарит из грязи и пыли
серебряное дышащее Слово.

Февраль, март 1978

ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ

На всем земном зловещая печать
старинного Отцовского проклятья:
детей для смерти вскармливает мать,
и дрожь агонии – в зачатье.

Но отчего бывает так легко
дышать и жить в скорбющем мире?
Как будто не гусиное перо,
а крылья серафима...

Август 1976

Неизреченная есть в слове благодать,
она несет способность воскрешенья,
она душе поможет отыскать
в пустыне памяти цветущие растения.
И перебрав былого лепестки,
вновь пережив минувшего мгновенья,
алхимик получает из тоски
опийный мак стихотворенья.

6.08.76.

Суть одиночества есть нежность,
она – поэзии сестра.
Лишь в ней свободы безмятежность
и обаяние добра.
В ней пульс дождя, певучесть снега,
язык свечей, душа сосны,
она, как альфа и омега,
вмещает все земные сны.

1976. 1977.

Когда умру, умчавшись тихим дымом
на пасмурные нивы облаков,
прозрачным стану пилигримом
внутри кочующих стихов.

Но после дождичка в четверг на землю снова
вернусь когда-нибудь в туманном сентябре
смотреть, как догорает слово
в залитой электричеством норе.

1976. 1977.

Пылает тушь,
Рука змеится,
рука поет,
рука как птица!

О плавных линий кружева,
вы – и рисунки, и слова.

11.05.77.

Я пыль, я ладан старых книг,
я шорох шепота страницы.
Из праха, пепла вновь возник
нетленный образ вещей птицы.
Я знаю все, я знаю всех,
отверзлись потайные двери.
Стихи чисты, как смерть и смех,
они воспитаны на вере.

16.03.77.

Мы – зеркало, разбитое сомнением,
осколки некогда прекрасного стекла, –
и одержима часть стремленьем
возвыситься до целого числа.

Мы – ритмы бесконечных изменений,
 участники неведомой игры,
 мозаика Божественных творений
 и полые прозрачные шары.

Мы – только тень невидимого мира,
 осколки смеха солнечной души.
 Подвластны дуновениям эфира,
 шумят, колеблясь, камыши.

...Но трещинам, оставленным сомненьем,
 быть может, выпадет в иные времена
 соединиться Вышним повеленьем, –
 и станет соль как прежде солона!
1976. 1977.

На руинах погибшей культуры,
 в сером пепле сгоревших бумаг
 незаметный, поблекший, понурый
 увядает поэзии мак.
 Где былое могучее пламя?
 Погибает опийный цветок...
 И как реквием вьется над нами
 легким облаком светлый дымок.
15.02.77.

Ненапечатанных стихов,
 бумажных кораблей армада
 грядую белых облаков
 плывет по небу Петрограда.

Не выпит город до конца,
 так пустим чашу в круговую!
 Черт с ним, что все идет впустую.
март 1976.

КОЗЛИНОЕ КОПЫТЦЕ

Хорошо! – воды напиток из козлиного копытца.

Не тороплюсь в засушливое лето, –
зеленым пламенем охвачены кусты,
раскрылись робко первые цветы,
потоки льются солнечного света.

Я пью в саду молдавское вино,
звучит архаика пернатого оркестра.
Легко, беспечно и смешно,
когда за пультом Пан маэстро.

1976. 1977.

В исходе мая свет стрекоз прозрачных
наполнил сумрак раненной души,
и воспарил мой дух невзрачный
над переводами Су Ши.

Ван Вэй, Ли Бо, бессмертный Тао Цянь
вино мне щедро подливали,
и в пьяном сне мелькали инь и ян,
как клавиши на даосском рояле.

март 1976.

Люблю безумие холодных вечеров,
вой ветра тусклый и унылый,
провалы проходных дворов,
кривые черные перила.

Струится липкое вино
в кишечный тракт анахорета.
Мерцает за окном: кино
и мера миру – оперетта.

9 ноября 1976.

Маскарадные россыпи снега,
 летаргический сон фонарей,
 золотая коньячная нега
 и пронзительный скрежет дверей.

Ядовитой медузой лимона
 обожжен опустевший стакан...
 Алкогольный зигзаг моциона
 сквозь галдящий узор горожан.
 31.12.76.

Иду на работу, шатаюсь,
 с похмелья звенит голова, –
 и словно гранаты взрываясь,
 в мозгу полыхают слова.

Будильники бесятся в норах,
 и скалятся светом дома.
 Чиновников пакостный ворох
 в меха облачился – зима.

Шипит электрический ребус, –
 не явь, и не смерть, и не сон:
 во мраке блуждает троллейбус,
 зеленый озябший дракон.

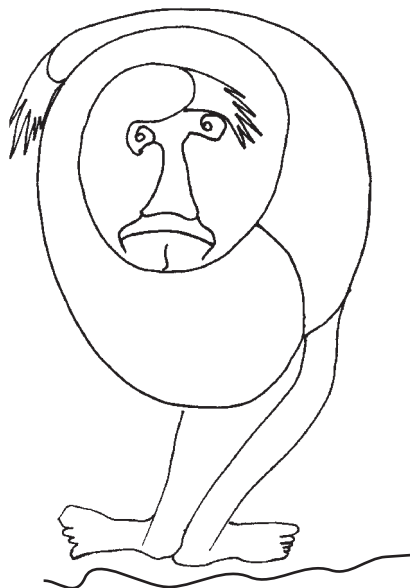
Над черною глянцевой бездной
 как студень недвижимой реки
 рассвет оглушительно трезвый
 расправил свои плавники.

Троллейбус летит, сотрясаясь,
 по длинным дрожащим мостам...
 О господи, я задыхаюсь,
 мне дурно, откройте! Сезам!
 27–28.11.76.

Угрюмый город дьявольски простужен,
Нева застыла будто в столбняке.
Парят над титулованною лужей
и отдыхают чайки в гамаке
свинцовых вод чухонского залива.
Цежу вино армянского разлива,
подслеповатыми глазами озираю
морскую даль и, кажется, зеваю.
Тростник полощется в воде.
Грущу о выпитом вине,
о том, что не горит нигде
мне свет теперь ни в чьем окне...
В обратный отправляюсь путь,
чтобы идти куда-нибудь.

И страшно мне, и скучно, и забавно
следить полупустой состав товарный,
из недр столицы бывшей православной
везущий дао.

15–16.10.76.



ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Здесь сладко пахнет анашою,
коробок желтые ряды
стоят китайскою стеною...

Сквозь беломорские дымы
хозяин чайник продевает,
и, как ущербная луна,
отбитый носик подплывает
к стакану на краю стола,
пар синим облаком взлетает
к молочным далям потолка.
Свеча в ученье принимает
очередного мотылька.
8.11.75.

Расплавлен золотом небес
в прозрачном омуте стакана
чаинок черный благовест.

Клубами всходит фимиам,
на дне горячего колодца
я созерцаю чаньский храм.
июнь 1976.

Время за полночь. Книга. Теософ.
Белой птицей порхают листы.

Упоенно кадит папироса.
«Я восходит в священное Ты».

Облака ритуального чая
оведают туманом халат.

Утомленно глаза закрываю.
Человек низвергается в ад.
29.11.76.

Вот ночь.
 Вот чай.
 Вот папироса.
 Вот занавешено окно.
 Вот дождь в него стучится косо,
 и все вокруг черным-черно.
 Кругом вода, кругом болото, –
 Нева, Фонтанка, острова,
 о хлебе вечная забота
 и только изредка – трава...

январь 1976.

Туманное круглое море,
 даосский космический чай!
 Чаинки в небесном просторе
 просыпал Господь невзначай.
 Какая крутая заварка!
 Галактик шипит кипяток.
 Но плоть – ненадежная барка,
 и мысли плывут на Восток.

11.02.77.

Мыльный шар летит, сверкая,
 вниз с балкона в темноту,
 фонарями из Китая
 украшая пустоту.

Наполняет чай индийский
 теплый колокол фарфора,
 и желтеет глаз буддийский
 на палитре светофора.

Мыльный шар летит, сверкая,
 вниз с балкона в темноту.

28 апреля, 12 мая 1977.

Вино – Христос, а чай – далекий Будда,
 наш позвоночник – из Уральского хребта.
 Восток и Запад выковали чудо
 азийско-европейского креста.

1976. 1977.

ПИСЬМА К БРАТУ

*Когда мы встретимся опять,
читать стихи и пить вино.*

Цой Чхивон

...И нас списала в сторожа
судьба, не щедрая на разность,
не спишь ты где-то и, дрожа,
поешь в стихах былую праздность, –
дерев спасительную тень,
в ночи звенящие бутылки,
и ту особенную лень,
что сладко чешет здесь затылки.

То было много лет назад,
а ныне все на белом свете
так изменилось, бедный брат,
что у тебя
родились дети.

1975.

Пускай уносит жизни океан
дырявый челн изношенного тела.
Что человек? бесхвостый павиан
и карточка из первого отдела.

Устал я, брат, и жажду возвратить
молекулам начальную свободу.

О чем печалиться, грустить,
когда вода уходит в воду?..

16.07.77.

Предвижу я последний сон, –
он укрывается за нами, –
и ухожу из мира вон
за Вами, милый брат, за снами.

Я ухожу в иной восторг,
в пространства новых измерений.
Морской прохладой веет морг,
а гроб – ладья в корнях растений.
июнь 1976.

Моя религия – халат,
балкон – святилище кумира.
В стакане плещется закат,
внизу бесчинствует Пальмира.
1976. 1977.

Улиткой я залез в халат,
и не хочу с ним расставаться.
Мне смерть милее во сто крат,
чем труд сизифов –
одеваться,
касаться теплою стопой
холодных половиц паркета
и содрогаться... Боже мой,
я не Антей, – зачем мне это?!
11.08.76.

Беспросветная ночь впереди,
гололед и метель, и мороз,
а пока снегопады, дожди,
да привычный халат и невроз.

Расплывается в сумраке день,
за окном загорелся фонарь.
Потолок ошарашила тень,
оцарапав худой календарь.
7.12.76.

Орбитой мелочных забот,
дурных людей и пошлых ситуаций
промчался високосный год
как хоровод галлюцинаций.

Нет огорчениям конца,
и год от года жизнь все хуже.
Не отличить личину от лица,
а лабиринт – запутанней и уже.
13.12.76.

Наследство наше – Север и Восток!
Кровь подбиралась долгими годами,
пока раскрыться не сумел цветок,
взращенный вечными как небо городами.

Прослав в толпе за чудаков,
мы рушим времени границы.
И будущего первые страницы –
живая летопись веков.
17–18.01.77.

Дилетант из медвежьего края,
совершая вселенский поход,
в бесконечных мирах утопая,
отыщу ли когда-нибудь брод?
Неужели до смертного часа
суждено коченеть у огня?
Так пускай полумаска, гримаса
хоть немного согреет меня.
21–22.01.77.

Серое чухонское подворье:
вот меланхолический залив,
вот перед глазами лукоморье,
только кот пуглив и молчалив.

Камышей прибрежное селенье,
вечное камлание воды,
рыбки золотое оперенье,
вздохи ветра в чаще бороды...

Кончено. Отрезано. Забыто.
Новая эпоха впереди.
Но боюсь разбитое корыто
ждет в конце и этого пути.
20.10.77.

Как будто летучие мыши,
сосульки висят вниз башкой,
совсем оплешивели крыши, –
зима собралась на покой.

Туманная оттепель. Сыро.
Вино вздорожало – каюк!
О будущем чая и сыра
скорбит петербургский бирюк.
28.02.–3.03.78.



МАДРИГАЛЫ ОСЕНИ

Как неверно печалиться о смерти!

Как неверно радоваться жизни

Лецзы

ВСТУПЛЕНИЕ

Прощай, убийственное лето,
душа как книга сожжена,
отныне тлеет прах поэта...

Плесни на уголья вина!
И чудо – пламя заалет,
костер тотчас же заревет, –
он тыщей языков владеет,
он к небу рвется, он живет!

1.09.76.

I
Пустынною дорогой
иду совсем один,
луна плывет пирогой
над скатертью равнин.

Темнеют листья палые
на берегу реки,
и только маки алые
не гасят огоньки.

1977.

II
Паутинка, шелковая речка,
в молоке тумана берега.
Теплится лазоревая свечка
в черном необъятном Никогда.
Молится кузнечик у палатки,
языками щелкает костер,
желтые кленовые перчатки
осязают мировой простор.

март, июнь 1977.

III

Уходит лето – время пустоте.
 Мне сладостно дышать ее дурманом
 и слушать шорох листьев в темноте,
 умерших шепот; пить вино, с туманом
 блуждать по городу, плыть снова в Петергоф,
 беседовать с умолкнувшим фонтаном...

А листья падают песчинками часов,
 и нет конца воздушным караванам.

август, ноябрь 1976.

IV

Уроки тления готовится давать
 вдруг ставшая монахиней природа.

Изучат вновь науку умирать
 болотом сочиненные уроды.

Меняет осень все смелей
 орнамент погребального наряда, –

смерть проступила на щеках аллея
 чахоточным румянцем листопада.

22.08.76.

V

Желтеет мир, и мухи дохнут,
 кружатся листья имьярек,
 прохожие покорно мокнут;
 приехал трагик в Сестребек.

Пустынный пляж, обломок урны
 ржавеет на сыром песке,
 скрипят по-прежнему котурны,
 и жизнь висит на волоске.

9.09.76.

VI

Как утончилась жизни нить,
как поредело вдруг пространство,
и время перестало быть:
смерть обретает постоянство.
Координаты «где-когда»
свое утратили значенье...

Душа – бамбук. Она пуста
и безмятежна как растение.

сентябрь, ноябрь 1976.

VII

Земное воплощенье Пустоты
к трехмерному пространству несводимо, –
в нем нет углов, длины и высоты...
Начало всех вещей неизъяснимо.

Не даос я, но верую в туман,
что ниспослал пейзажу бесконечность.
Всепоглощающий, кочующий дурман
уносит дух в бесформенную вечность.
2–3.03.78.

VIII

Томительно на ветке вис
увядший лист.
Сверкающая капля как слеза
ползла.
Бог милосердный положил предел:
лист –
отлетел.

ноябрь 1976.

IX

Облака, – мои письма к тебе, –
я отправил по невской воде.
В белоснежных конвертах закат,
теплый дождь и весны аромат.
Только холодом дышит ответ –
ветер бросил порывисто: нет.

1.10.76.

X

ВЕСНЫ И ОСЕНИ

Нет, влажною апрельской акварелью
мне, кажется, плениться не дано.
Стремлюсь душой к осеннему похмелью:
чем старше – тем прелестнее вино.

2–4.10.76.

XI

Октябрь. Сумерки. Один
читаю нараспев «Шицзин».

...На лужах тонкий проступает лед,
и Хуанхе о смерти мне поет.

По набережной мчится желтый лист,
а вслед за ним покойный китаист.

1976. 1977.

XII

Опадает листва оловянная,
и деревья теперь деревянные.

И погода такая стеклянная,
Петербурга тоска окаянная.

Небо больше не плачет над городом,
вечерами пугает нас холодом.

Я в рисунке живу заколдованном,
Бог весть кем и когда нарисованном.

21.10.76.

РАЗНЫЕ СТИХИ

Снял очки. Мир так занятен,
непонятен и красив,
состоит из многих пятен
в разной степени живых!
Вот пятно блуждает папа
и роняет звуки слов.
Вот пятно плывет анапа,
вот летит пятно тамбов.
Кошка книгой побежала,
книга кошкой прилегла.
Без конца и без начала
ярких пятен чехарда.
Этот мир калейдоскопа
Объяснить никак нельзя.
Вот плывет пятно европа,
вот летит пятно земля.

май 1976.

Лежат верблюды облаков
в закатном розовом пуху,
и скоро горсти пятаков
Бог бросит в черную труху.
Меланхолический юнец
слюнявит дохлых червяков,
академический гребец
скользит вдоль сонных берегов.
Какой покой... А между тем,
как бильярдные шары,
в крови, внутри вселенских вен,
кружась, проносятся миры!

25.04.78.

БОРЬБА МИРОВ

Дебелый debil полукружьями крыл
по мокрой траве истерически бил,
а рыжий котик, от счастья урча,
рвал птицу на части, хвостом трепеща.

1977.

РОМАНС

Длинная дорога,
запертая дверь.

Плачет у порога
заповедный зверь.

Бороздят морщины
скорбное чело.

Запах мертвечины.
Больше ничего.

8.01.77.

Все есть вода.
И человек ручей,
текущий
знает Бог
откуда.

Звени,
ключ жизни,
веселей.

Покой –
вот истинное
чудо.

16.08.76.

Трепещет миров паутина,
колышется звездный узор,
пылится вселенной махина
как старый бухарский ковер.

Запутанный узел сознания
распустит когда-нибудь Ткач,
и к Хаосу вновь на свиданье
покатится космоса мяч.

25.11.76.

Куски вселенной бродят по проспектам,
не ведая,
что Сущее едино,
и человек, как ветер,
всюду – дома.

28.11.76.

Ночью гасится неслышно
Свет Божественный во мне.
Стекла мутные Всевышний
протирает в темноте.

Зашаманил утром разум,
забубнил свои слова –
и в глазах поплыли сразу
Петербурга острова,
распахнулись вновь предметы,
встали знаки из страниц...
Грохот Фебовой кареты
слышен в щебете девиц.
15.01.77.

ЯВЛЕНИЕ РАДУГИ

Плывут фантомами воды
стальные замкнутые тучи.
До нитки вымокли мосты,
а дождь все яростней и круче!

Все больше блюдечек-амеб
толчется на сырой панели,
и люк вбирает словно зоб
частополосицу капели.

Цветной октавою дождя
взметнулась радуга над крышей.
Твое ли я, мираж, дитя?!
Ответа нет, но дождь стал тише.
март, июнь 1977.

Пение птиц озорное,
робкие вздохи травы,
приступы летнего зноя,
лед на загровке Невы.
Горбятся почки на ветках,
ветер терзает плащи,
густо цветут на нимфетках
красной гвоздикой прыщи.

Голуби страстно воркуют,
 кошки орут по ночам,
 люди друг друга ревнуют...
 Много работы зрачкам.
25–27.04.77.

Кропотливость паучьей работы,
 эта беличья тщета труда, –
 отпадают как струпья года
 в липкий мрак исторической рвоты.

За окном все барханы, пески,
 черно-синие гнусные птицы.
 Серебрит безысходность виски,
 а кириллица гложет страницы.

Деться некуда – письменный стол,
 книжный шкаф, плоскогорье дивана,
 дикий лагерь татаро-монгол
 да манящий мираж каравана.
май 1978.

На улице пыльное лето.
 В душе поселилось Ничто.
 Горящая мчится карета.
 Японец. Безумец. Кокто.
 Помоек отчаянный запах.
 Младенцев разнuzданный визг.
 У девочки в розовых лапах
 покоится «Оливер Твист».
май 1976.

Жара. Запыленные кроны.
 Скрипит безмятежно гамак.
 Жиреют гиганты-пионы.
 Читаю запоем. Ремарк!

Каникулы. Сумерки детства –
 пятнадцать уродливых лет.
 Лишили! Лишили наследства:
 не дали латынь и Завет.

март, июнь 1977.

Дребезжит автобус угорелый,
 верещит крылатое зверье,
 движется бессмысленное тело,
 завернувшись в старое тряпье.
 Кашляют простуженные мысли,
 слышатся подземные толчки!
 Господи, прошу Тебя, зачисли
 нехриста в Твои ученики.

4–7.03.77.

В трамвае едет пролетарий,
 спит просвещенный офицер,
 шуршит газетою татарин,
 алеет толстый пионер,
 читает Драйзера девица,
 и человек стоит с ружьем...

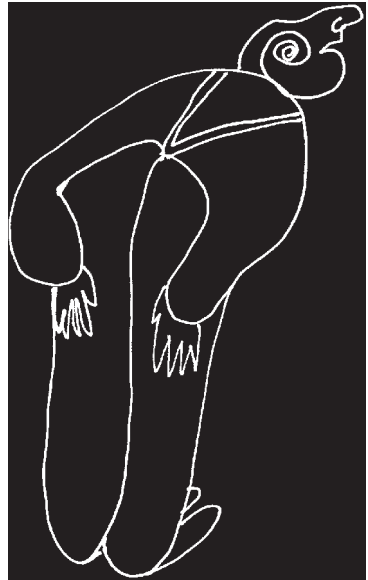
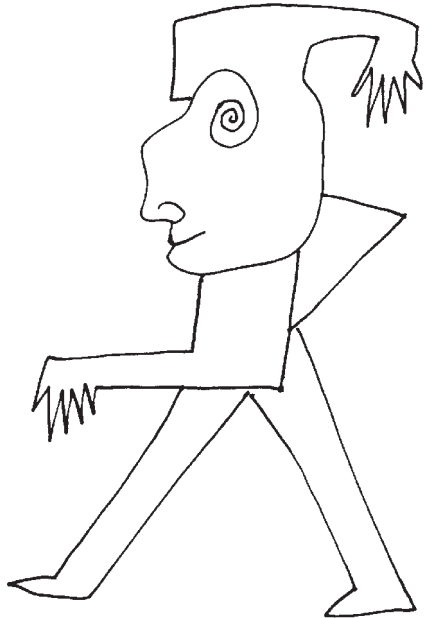
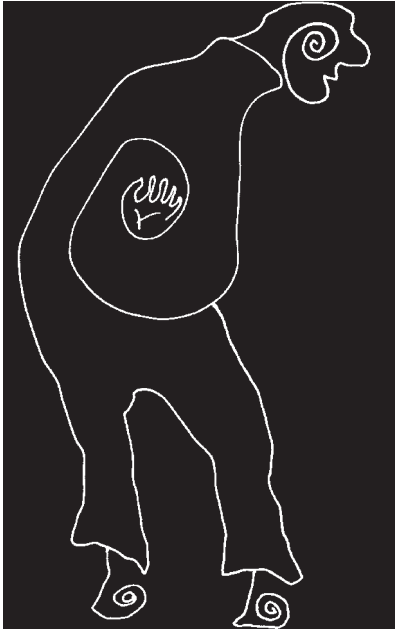
Проклятье! мне опять приснится
 Джордж Орвелл со своим зверьем.

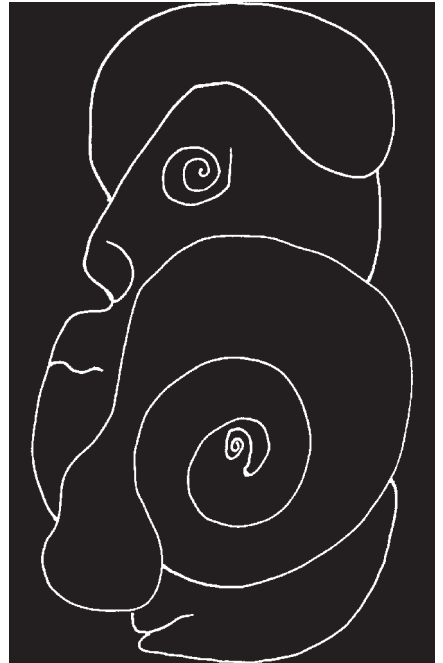
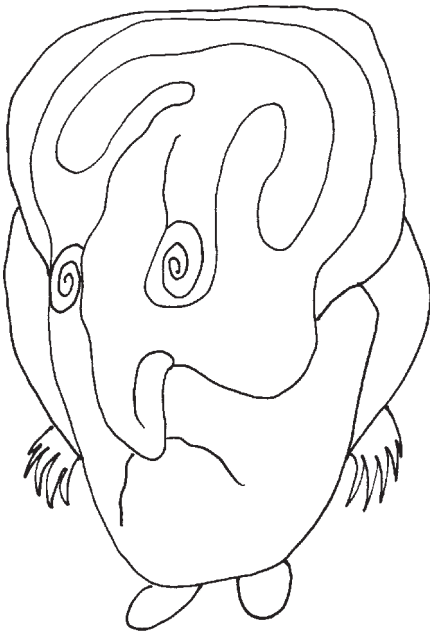
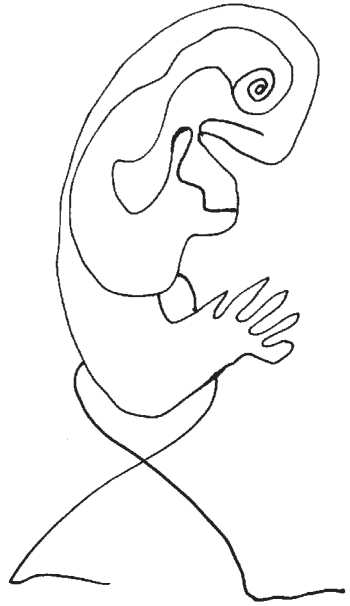
1976. 1977.

Надуваются синие жилы,
 увлажняется медленно лоб.
 Вдоль подушки бежит что есть силы
 иноходец полуночи – клоп.

За стеною бранятся соседи,
 а на улице грязный апрель;
 и безногая лысая леди
 хрипло шепчет: «Ты мой, менестрель».

1977.





БОЛОТНОЕ СЕРЕБРО

*Не столица, о нет, только пугало
в гуще ржавых чухонских болот...*

I

О город гибели, молчи!
Храни заветную годину.
Вот час придет, тогда гряди,
ступи в балтийскую пучину.

Воды свинцовое кольцо
века сомкнуть пока не смели:
твое бескровное лицо
самоубийцы не допели.

декабрь 1975.

II

Пить одиночество до дна,
до самого последнего остатка,
чтобы прочувствовать сполна
твой жар и холод, улиц лихорадка.

Так сладко в Петербурге мне дичать,
внимая музыке упадка,
ночами под копытами торчать
и дожидаться царского припадка.

март 1976.

III

Я снов чужих запутанный клубок
и дальних голосов чуть слышимое эхо,
порывами космического смеха
носимый по миру листок.

Теперь мне дом – вода и Петербург,
читаю тайнопись каналов.
Листает с любопытством демиург
петровской фауны каталог.

январь 1976.

IV

Город, выжженный морозом
и обуглившийся льдом,
робко ежится мимозой
в саргофаге слюдяном.
Солнце медною монетой
тонет в розовом дыму,
и уходят силуэты
в фиолетовую тьму.

январь, февраль 1977.

V

Недоносок февраль. Ненавижу!
– 20°. Дымится Нева.
Тень собора похожа на грыжу.
От портвейна трещит голова.

Гололед. Разъезжаются ноги.
По проспекту скользят лопари.
Люди вьются в окне как миноги,
и пластинка шипит: «О Пари...»
4–5.02.78.

VI

Застыл курносый корабел
чугунным идолом над гадом.
Руки дьявольский вертел
связует небо с Петроградом.

Царь, гад и конь. Внизу – гранит.
Страшит чудовищность знаменья:
дракон бестрепетно следит
воды над городом течение.

Град-камень, брошенный Петром,
летит сквозь время, сатанея,
Полузатопленный фантом
смеется с каждым часом злее.
декабрь 1975.

VII

Светящийся фалл телевышки,
 тифозная сыпь фонарей,
 смазливые школьницы-пышки
 трясут холмогоры груди.
 Мертвеет огарок часовни,
 опутанный рыжей травой,
 и небо остывшей жаровней
 висит над ослепшей Невой.

17.04.77.

VIII

Вавилонской блудницею город
 распластался на гноище вод,
 похотливой улыбкой распорот
 сладострастно змеящийся рот.

Веет падалю море больное,
 проплывают в крови облака,
 и дрожит, зеленея от гноя,
 над Невой корабела рука.

7.08.76.

IX

Атлантида моя, Петербург,
 погружается тихо на дно;
 и не Петр уже, а Панург
 на тот свет прорубает окно.

В гальванической ванне болот
 растворится стихов серебро.
 Поплывет, разбухая, урод
 по летейским каналам метро.

Вновь кощунствует в городе день,
 многоликий чудовищный бред.
 Где-то мчится по лесу олень,
 оставляя серебряный след.

1976.

Х

Расплывается серая нечисть
миллионами призрачных лиц.
На мочалку похожая вечность –
достояние бывших столиц.

Мужиков полупьяные хари
и неряшливых женщин поток,
безобразные темные твари,
отсыревший осклизлый мирок.

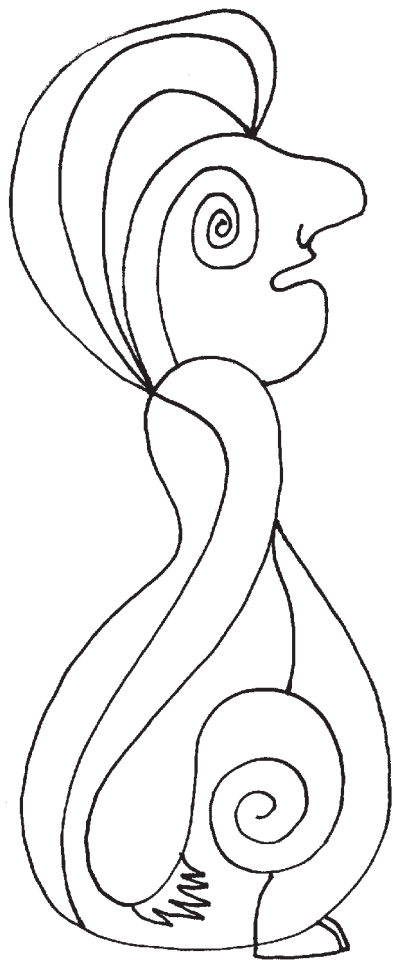
Размокает петровская глина,
в липкой жиже увязла толпа.
Прозябает крылатый детина
на вершине большого столпа.

Недоносок, измазанный тинной,
пожирает утопленниц жир,
и кружит над балтийской пучиной
пучеглазый голодный вампир.

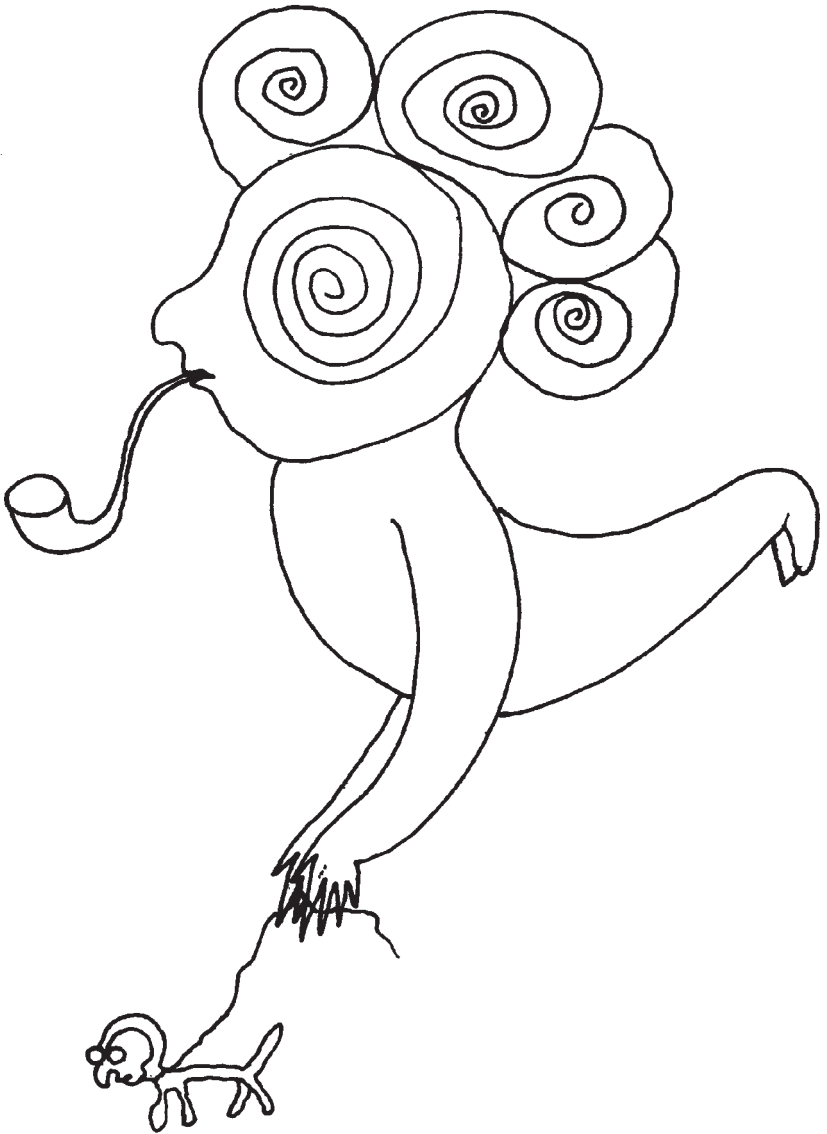
Вылетают навозные мухи
из дворцов, ресторанов, могил,
словно мумии бродят старухи,
а Нева так похожа на Нил...

И классически пьян как сапожник, –
обреченный на гибель шаман, –
спотыкаясь, плетется художник
сквозь истории алый туман.

декабрь 1976.



РАССКАЗЫ О БАБУШКЕ
(ментальный балет)



МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Зашел как-то странник в один текст, а выйти из него до сих пор не может. Темно пространство сие и необъяснимо. Многие безрассудные удалцы сгнули там. Пустое место, только буквы шатаются, как зубы во рту первоклассника. Цинга. Цусима. Взять слово на абордаж невозможно. Алмазные россыпи азбуки. Не играйте со словами в азартные игры, если дорожите смыслом жизни!

Сначала мы воспринимали слово только на слух, потом научились читать глазами... Вывод напрашивается сам собой. Иероглиф, рисунок, орнамент. Три ипостаси ритма, Отца всего сущего. Ритм синтезирует в себе пространство и время. Пульс. Ничего кроме пульса. Слова живые. Странник перерос в слово – все кончилось, и все началось. Зашел как-то странник в один текст, а выйти из него до сих пор не может.

1978

ПАСЬЯНС–ПЯТНАДЦАТЬ

Сейчас, когда с момента написания этих текстов минуло много лет, и автор перепечатывает пожелтевшие бумажки, сидя в немецком замке, хочется сказать... Впрочем сказать-то как раз и нечего. И что такое это «сейчас», где оно было реальнее: тогда, когда я только шел к замку, или теперь, когда живу в нем. Вероятно тогда я был счастливее, ибо еще только предвидел судьбу.

Теперь она свершилась, времена изменились, и мне не остается ничего другого как разложить пасьянс из жухнувших бумажек и посмотреть, что из этого выйдет. Больше ничего сделать нельзя.

28.02.1993 г.

Akademie Schloss Solitude

st u

tt

g

ART

РИТУАЛЬНЫЕ ДНИ

1. Неэвклидовы начала
2. Там вдали за рекой
3. Тайна четырех консервных банок
4. Дневник писателя
5. Время развлечений
6. Каменные котлеты
7. Магазин готовой продукции (адажио)
8. Пейзаж и жанр
9. Топонимика, или Станционный смотритель
10. Жил-был-щыл (из сказок бабушки Веры)
11. Рыба и лед
12. Ритуальный день
13. Сказание о велосипедисте

НЕЭВКЛИДОВЫ НАЧАЛА

В голове образуется мистический образ какого-то города, начинают приоткрываться начала ирреальной топографии. Улицы, знакомые с детства, утрачивают прежние привычные черты, обретая новый облик. Когда попадаю в эти точки пространства, то все становится зыбким, мерцающим. Магическая сила прошлого заставляет снова и снова возвращаться туда, где складывались элементы узоров грядущего орнамента. Стихия воспоминаний уносит к истокам сновидений, в темное царство Мнемозины.

Отправляясь опять и опять в безумную даль существования, в таинственное нечто фиктивного я, рассекаем водную гладь времени и созерцаем концентрические круги столетий.

Мы держим курс на Ничто.

ТАМ ВДАЛИ ЗА РЕКОЙ

Сначала в мозгу возникает светящаяся точка, она растет, растет, и ты проваливаешься в один из колодцев памяти и, как сомнамбула, движешься навстречу самому себе.

У окна, занимавшего едва ли не всю стену, стояла оттоманка. Шкаф с зеркалом, оранжевый абажур и этажерка с книгами. Особенно хорошо помню довольно толстую книгу каких-то скандинавских сказок. У нее не было ни начала, ни конца, но посередине мерцали замечательные иллюстрации.

Бледно-зеленая рыба в широкополой шляпе покупала у деревянного пенала белый карандаш и говорила голосом Поля Робсона большое непонятное слово светопреставление. Была еще и другая книга, но без картинок с проржавевшими металлическими буквами на жестких, как череп атлантропа, страницах. На столе обеденном, который был едва больше письменного, а письменный был так мал, так уж мал, что на нем даже мои локти не помещались, лежала газета, в ней – дело врачей. Устав от разглядывания картинок, я ложился на оттоманку, иногда в голове раздавался голос бабушки.

Ну, как твоё здоровье? Прекрасно, машинально отвечал я, впрочем мне не совсем понятно, о ком идет речь. Это хорошо, обрадованно сказал голос, и бабушка воплотилась окончательно. Что хорошо, тупо переспросил я, удивленно смотря на ее разнузданное воображение.

Ей было лет семнадцать, она предстала передо мной в кисейном платье, совершенно седые волосы трепал фиолетового цвета ветерок, громадные серебряные крылья чуть покачивались за спиной. Хорошо то, что не понимаешь, ответила бабушка, раскуривая длинную трубку.

Бабушка, а где Бог, вдруг спросил я. Бога нет, ответило юное создание, выпорхнув в окно. Как нет?! А ты хочешь, чтобы Он был, зазвенел бабушкин голосок в моей все еще гудящей от несуществующих книг голове. Я не знаю. Тогда и не спрашивай, прошептал голос, и бабушки Веры не стало.

ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ КОНСЕРВНЫХ БАНОК

Их было человек десять, у рыжего над головой болтался вместо флага рванный абажур, остальные громко кричали слово стой. Мы опрорхнув бросились в ближайшую подворотню. Занято! Тогда по пожарной лестнице полезли на крышу. Там было тепло и тихо, как у Хемингуэя за пазухой. Посередине крыши лежали четыре консервные банки. Потом мы вышли на чердак, где висело белье и летали голуби. На третьем этаже стоял управдом и держал немецкую овчарку за талию. Сорок часов три минуты. Суп с вермишелью. Рассказывали о борьбе народов. Спустился на лифте. Земля была влажной, лежал на траве и смотрел, как она быстро растет вверх, вглубь и вширь. Овчарка косилась на детей из-за сарая, облизываясь розовым языком. Часто-часто. Десант с абажуром ушел. Неподдалеку снова завывала сирена. Погасили свет. Почти сразу хлопнула мышеловка. За два квартала от нашего дома по улице профессора Попова шел человек. В трех бостоновых костюмах с неотрезанными ярлыками.

Отец торжественно извлек мышь, пошел топить ее в уборной. Управдом отстегнул поводок. Снова погасили свет. Когда сестру выписывали из больницы, она сказала, папа, не ходи к евреям бриться, зарежут. Утром сосед долго чистил ботинки в прихожей и сопел. Шел дождь, во дворе гуляла Лида с зонтиком. Мы пошли к сараям, здесь пахло дровами и мотоциклами. На крыше люди в плащах что-то фотографировали. Позвали обедать, на первое был рассольник. Сестра задерживалась в школе. Или, наоборот, у нее что-то задерживалось? Мать обсуждала с отцом, сколько еще пеленок и подгузников надо

приобрести к моему рождению. В углу стояла коляска, сосед не позволял держать ее в коридоре. Некоторое время спустя принесли десерт. Консервированные ананасы. Значит четвертая банка на крыше была... Потом писал письмо жене, зная, конечно, письма жена не получит. Да где она теперь, жена?! Включили телевизор. Во дворе никого не было. Поставили раскладушку. Позже узнал, Лиде запретили гулять, после того, как управдом застал ее в сарае с рыжим мальчиком.

Велели ложиться спать. Мать вкатила в комнату коляску и положила в никелированную кроватку с сетками по бокам. Заснул, а когда проснулся, заболел скарлатиной. На крыше построили еще один этаж. Говорят, что они жулики. Сестра ходит на курсы английского языка. Живут не по средствам. На суде, кроме нас с женой, слава Богу, никого больше не было. Один дом в нашем дворе очень близко примыкал к соседнему. Она купила себе английские зимние сапоги. Пройти между этими домами мог только ребенок или очень худой взрослый человек. Снова завывала сирена. Здесь всегда валялась всякая дрянь. Легли спать. Тряпки, экскременты, какие-то кости. За стенкой скрипел матрац. Лида выучилась на зубного врача. Сели обедать в бостоновых костюмах. На первое бабушка приготовила борщ. На следствии. Мама с нами не было. Сознался. Ее увезли в родильный дом на Каменном острове. Во всем. Родили после полуночи. Отец до сих пор читает газеты. Сразу заклеили ляписом. Выключили телевизор. Как будто им мало моего сомнительного происхождения. Он был с линзой. Потом возили в голубой коляске по Кировскому проспекту через Карповку туда и обратно.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Бабушка развешивала белье на чердаке, когда я увидел пролетающего по небу ангела. На другой день отец разбил в бане кружку. На Крестовском острове есть дуб Петра I. Вокруг него столбики и цепочки, чтобы не сбежал как Кропоткин. В парке культуры и отдыха продавали пышки. Из ртов валил пар. Возвращаясь после дачи в город, я особенно остро воспринимал его бесчисленные шумы. При входе в детскую поликлинику были боксы, крохотные комнатки из стекла. В них засовывали детям в рот деревянные палочки. Потом, когда я болел свинкой,

одна такая палочка в белом халате долго проверяла, все ли у меня в порядке внизу. А в гастрономе подсвеченные лампами празднично сверкали разноцветные ликеры. Наконец, начали строить телевышку. После пышек шли кататься с американских гор. И однажды ночью в трусах стало мокро от белой слизи. В троллейбусе подавленно молчали. На горизонте чернели горбатые горы. Очертя голову, мы падали вниз. Предложили снова бежать в Египет. Перешел на другую сторону улицы. Вытер губы вместо салфетки тыльной стороной Большого проспекта. Петр I очень любил горячую пищу, для этого он прорубил окно в Европу, которой нет до нас никакого дела. Без пяти шесть, схватил кулек и кинулся к Ждановке. Там выбросили топленое масло. Сологуб с ужасом взглянул на знакомое кольцо. Дули погожие ветры. Сыпалась труха дней. Мы переехали в новый дом с совмещенным сюжетом. Напротив рыли котлован. Люди в оранжевых жилетах ползали по траншеям. Они прокладывали кабель. Я попросил у них разрешения позвонить ангелу. Они встретили меня неприветливо. Они сказали, что никакого ангела никогда не было, что уже поздно и все магазины закрыты. Я брел по пустым улицам мимо. В Летнем саду толпились деревья, разглядывая огромное изображение одного из трех кондукторов. Дворец дождей пропах йодом. На Аничковом мосту Достоевский описывал бедных людей.

Вчера нам поставили телефон. Польский, серый. Его еще не подключили. Я снял трубку и услышал голос бабушки. Вы не знаете, как пройти к Гефсиманскому саду?

ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Когда мне исполнилось семь лет, я встретил на Большом проспекте пьяного Ли Бо. Мы вежливо раскланялись. Ли Бо тотчас сказал, что я выгляжу на все тридцать. Он попросил пятнадцать копеек взаймы и побежал в гастроном, который вот-вот должны были закрыть. С тех пор наши жизненные пути больше не пересекались. Бабушка говорила, что в каждой электрической лампочке живет солнечная муха Фэ. После четверга обнаружил в газовой плите сломанную шариковую ручку (они еще были в диковинку) и пятнадцать копеек. Приятно иметь дело с порядочным человеком, подумал я, когда мне перехватили горло алым шарфиком. Естественно, после этого я заболел ветрянкой. Тело покрылось

пузырями, поэтому ночью вылетал через форточку и планировал над городом. Это был странный город. В каждой подворотне еще не сожженные ведьмы торговали мороженым зельем. А в пивных ларьках беременные революцией парки читали роман «Муттер». Экскурсанты устало плелись вслед за гидом Минотавром. В большой сфере на зингеровском доме парил Аракчеев. По пустым улицам мчались телеги со змеями. Бабушка Вера называла эти прогулки эсхатологическими. По ее мнению, все давно уже кончилось, поэтому можно так легко проникать из одного века в другой. Время окаменело, пророчествовала бабушка, оно стало музеем. Людей, слова, деревья и даже саму себя бабушка называла экспонатами. Жить в музее не очень-то весело. Туда не ходи, этого не трогай и, самое противное, – восхищайся, восхищайся, восхищайся! На чердаках горели костры. Там скакали мулатки всех оттенков шоколада. Динамика грандиозного латиноамериканского крупа впечатляла. Вокруг статуи марсианина Суворова (что на площади жертв Эволюции) бегал какой-то малаец, – амок. На шее у него болталось полотенце с изображением дерева Бодхи. Но вскоре я выздоровел и ночные полеты прекратились сами собой. Бабушка придумала новое развлечение, которое заключалось в созерцании всевозможных поверхностей. Где бы то ни было: в метро, в парке, ванной, мы предавались созерцанию плоскостей. Так, стоя на ступени эскалатора, я погружал взор в спину нижестоящего пассажира и начинал различать отдельные нитки ткани, узелки на них, неровности окраски, а потом куда-то проваливался, как в сон. Когда спина вдруг исчезала из поля зрения, чувство невосполнимой утраты зачастую наполняло все мое юное существо глубокой горечью. Также мы любили разглядывать поверхности книжных переплетов, двери шкафов, небо, ржавые листы железа, морщины. Потом мы уехали из старого дома с купидонами на другой конец города и посвятили остаток своих дней созерцанию типографской краски.

КАМЕННЫЕ КОТЛЕТЫ

Когда скользкие щупальца депрессии смыкаются на моем хрупком «я», я сажусь за машинку. На миру и смерть красна, гласит родная речь. Перед тем как сесть за машинку, минут пять расхаживаю перед платяным шкафом, на пыльной вершине которого покоится упомянутый агрегат...

Нет, лучше я начну с начала!

Но начала нет, а конца и подавно. Так что же делать, с чего начать? Вообще начинать здесь что бы то ни было вредно, здесь этого не любят. Попробую начать с середины, как Конфуций.

Но где же здесь, спрашивается, середина?

Вчера, когда совершенно ослеп от чтения и размазывания туши, занялся стрижкой волос в носу, при этом его приходилось выворачивать чуть ли не наизнанку. Нельзя сказать, чтобы созерцание собственного мяса улучшило мое настроение, но как-то успокоило. Вчера же, сдавая бутылки из-под молока, наблюдал, как разгружали огромную машину-рефрижератор, набитую сплошь бараньими тушами, и сразу – ассоциации: Сутин, камень для разделки трупов неподалеку от Лхасы...

Запахло жареным. Оказывается, был уже день, и мать возилась на кухне. В депрессивном состоянии я могу спать необычайно долго.

Что такое самоубийство? Любовь к электричеству? Ведь жизнь, как утверждают ученые люди, несмотря на кажущуюся сложность, является в конечном счете электро-магнитным явлением. Так что в сыром мясе ничего ужасного нет, наоборот, каких-нибудь двести тысяч лет назад один вид окровавленной туши приводил нас в священный трепет, так теперь воздействует на библиофилов зеленая обложка литературных памятников или черная памятников письменности востока.

Вчерашняя баранина предназначалась для чебуречной, она расположена рядом с молочным магазином (справа, если стоять к магазину лицом), куда я сдавал бутылки, слева – булочная, а за ней сберкасса. После сберкассы ничего нет. Потом Финляндия, Северный полюс. На другой стороне книжный магазин (в нем тоже ничего нет). Еще дальше Черная речка и вместо Дуэли.

Потом Серафимовское кладбище и Лисий нос. В Лисьем носу волос нет, но пива сколько угодно, и еще залив. На заливе хорошо зимой, когда не очень холодно, ранней весной и осенью. Весной засилье стрекоз, их прозрачные крылья...

Сырое мясо напоминает язык, то есть не напоминает, а представляет собой. В человеке слишком много сырого мяса, он плохо прожарен. Вот камни прожарены хорошо, поэтому они столь скупы на слова и поступки. Грызите камни, гурманы, это лучшие из котлет Господа Бога!

МАГАЗИН ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
(АДАЖИО)

В том подвале неподалеку от Черной речки меня запирали до обеда. Целый день сортировал яблоки, виноград, сливы и персики. Ящики через узкое окошко подавал в торговый зал. Потом проползал сквозь него как змея. На втором этаже около клозета варился суп. Для персонала. Играло радио. Старуха-уборщица отпускала при моем появлении скабрзные шутки. Продка Люда закрыла маленькие глазки еще прежде чем начали заглатывать друг у друга устрицы губ. Дегустация моллюсков обычно приурочивалась к стихийным пьянкам или обрядовым праздникам. Зимой для физиологических этюдов оказывались единственно пригодными, как это ни парадоксально, места общего пользования. На носу у нее была аккуратная квадратная площадка, подобие запасного аэродрома, который видел в Озерках. Старуха ковыряла в зубах спичкой, при этом ее рука скрывалась по локоть. Посолила суп и начала чесаться чесноком. Иногда ходили обедать в шашлычную, после этого трудно было держаться на ногах. Если бы мы ходили на четвереньках, то испытывали бы потребность в половом общении только в определенное время года, как и большинство разумных животных, а не в течение всего календарного цикла, как человек. В один из ритуальных дней поставил на стол маленькую. Продка Люда закрыла глаза. Мы выпили. Протискивая левую руку между бухгалтером и грудью, одновременно правой пытался расшнуровать ботинки, арбуз вырвался (они были скользкими, их везли под дождем в открытой машине) и упал на асфальт. Красная мякоть. Мы выпили еще, муж (бюстгальтер) в командировке, и под звуки гимна вышли (голые) на балкон. Продка Люда открыла глаза, когда заведующая сказала, я взыщу с вас эти деньги, и угрожающе кашлянула в пухлый розовый кулак с двумя кольцами из дутого золота. На свадьбе танцевал с ее матерью, которой нечаянно наступил ночью на руку. Она была сильно пьяна, шаталась и кричала, показывая на мой нос распухшим синим пальцем, смотрите, какие молоденькие! Баянист осоловело хлопал глазами, на лестнице уже кого-то били. Вышел на улицу семнадцатилетним, с узким галстуком на шее. Продка Люда пряталась под мой пиджак, спасаясь от ночной прохлады. Она прижи-

малась ко мне упругой грудью и пела. Как здесь включается свет? Старуха молча укладывала баяниста в футляр. Теперь там магазин политической книги. Выключатель был сломан, схватился рукой за оголенные концы проводов. Ящики с гниющей капустой. Белые лица больных. Ударило током. Она с трудом вышла из палаты. Потеряла много крови. Поцелуй – реликт древнего символического действия, недаром все народы мира отождествляли дыхание с душой. Аккуратно повесила джинсы на спинку кресла, подложила клеенку под простыню, включила проигрыватель. Вивальди.

Партнеры как бы меняются душами или вернее пытаются слить их вместе с телами, хотя бы на несколько мгновений в единую неделимую форму, это можно назвать тоской по андрогину. Когда пластинка кончилась, продка Люда вежливо попросила, помедленней, пожалуйста.

ПЕЙЗАЖ И ЖАНР

После суток, если ночь была бессонной, торчишь, как при высокой температуре. Покорно отдаешься фантазии пространства. Оно неторопливо пережевывает тебя с другими народами в серую кашу толпы и выплевывает где-нибудь в Лисьем носу на платформу. И ты, хотя уже не соображаешь ничего, механически идешь пить пиво.

Залив. Скамейка.

Теперь надо собраться с силами, чтобы удалить полиэтиленовую пробку. Путь свободен! Влага скользит по пищеводу, мысли приобретают особую прозрачность. Через мозг летят птицы, облака. В левом глазу появляется старуха с сумкой. Ждет терпеливо, как гриф. Но я не спешу отдать гладкое и прозрачное тело на растерзание хищнице посуды. Мы разговариваем о пустоте, градациях небытия... Эта зеленая саламандра знает все. В ушах снег. Надо съесть яблоко. Разочарованная банальностью этой мифологемы старуха уходит. (Конец первого действия)

Полчаса.

Черные кусты за спиной, кривые мозолистые руки рабочих. Дерево – это дочиста обглоданная рыба. Я тоже обглоданный эпохой человек. Человек? Скотина! снова приперлась и смотрит нагло. Гипербола с параболой – камбала. Вобла – Астрахань, Анаксагор. Ряд за рядом. Лет десять тому (или кому?) назад си-

дел на крыше с девицей, у нее был сломан нос и все остальное. Лахта – Лхаса. Сознание без копыт, безначальное сознание буддизма. Его проекция на дно только что опустошенной бутылки.

Полдень.

Пришел домой. Рухнул на диван. Тотчас уснул. И мой плавленый сырок со мною.

ТОПОНИМИКА, ИЛИ СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Между Лахтой и Ольгиным есть дамба. Вернее, если ехать из Лахты в Ольгино, можно увидеть дамбу. Она совсем небольшая. Может быть, это даже не дамба, а что-нибудь другое. Но мне приятно думать, что дамба. Сейчас вдруг усомнился: из Лахты в Ольгино или из Новой деревни в Лахту? Но это не существенно. Главное, что есть квази-дамба, раздражитель ментальной сферы: нидерланды, тюльпаны, ван-гоги, Амстердам. География бессознательного, немые карты и тихие океаны вселенной. Поезд передвигается из одного полушария в другое. Каждому надо уложить восемь шпал. План Божественного Спасения (сокращенно – СПб). В Сестрорецке (Сестербеке) был оружейный завод, там Лескову рассказали о Левше, первом русском промышленном шпионе.

Белоостров. Дачная местность. (Пушкинский дом. Профер.) Что еще? На стуле лежит книга (толстая) «Конец главы».

Северные предания: В Ольгино есть одноэтажный гастроном с винным отделом, а рядом пивной ларек с трудящимися. Если плюнуть высоко-высоко, то родится новая звезда. В Лисьем носу, кроме магазина, летом работает еще и павильончик, где продают портвейн в розлив. Если бы я жил в Западной Германии, как Хайсенбюттель, то поместил бы здесь соответствующую цитату из летнего железнодорожного расписания, но лопарям цитаты не по нутру, они сами с усами. Да еще какими!

С другой стороны, Васкелово не виновато, что оно Васкелово, а не Лемболово или Вапнярка. Или экзотическая Борисова грива. Ван-гог умер с трубкой во рту. Ли Бо утонул в пьяном виде лунного отражения Книги Перемен. 64 километр золотого сечения. Мга. Ямщик, не гони лошадей, они обесточены. Апатичная птица-тройка. Палех.

Пока заправлял новый лист в машинку, бабушка Вера начертала на нем следующее: наше сознание – это музыкальный

инструмент, вроде флейты, но подлинным виртуозом становится не тот, кто извлечет из него более благозвучную мелодию, а тот, который создаст свою гамму, и уже на ее основе новую гармонию.

Разве Лахта, Ольгино и Лисий нос не могут быть положены в основу моей музыки? Создать новую ритмическую систему, в которой сопрягаются не звуки, а пространства. Впрочем наша ж/д может оказаться тривиальной игрушкой. Замкнутый круг, по которому бегают паровозик сознания.

ЖИЛ–БЫЛ–ЩЫЛ
(ИЗ СКАЗОК БАБУШКИ ВЕРЫ)

Жило-было одно сознание, а может не одно, может целых два или тысяча, но сознание предпочитало думать, что оно одно, так ему было легче переносить себя.

Ходило сознание на рынок, кашку варило. Происходило время. Бродя по горным тропинкам, сознание все никак не могло понять, где же кончаются горы, и где начинается небо. Вечером сидело на кочке и думало: вечер. Потом вставало (то есть думало, что встает) и шло спать.

Сознание просыпалось в холодном поту, шло на кухню пить воду прямо из крана и опять засыпало. Снилось слово солипсизм или гипотенуза. Первое походило на белый туманный шар, второе – на цепь проходных дворов с желтыми слабосильными лампочками над парадной и помойными бакенбардами, около которых серые массы бывших горных птиц строили слово маскарад.

Посередине комнаты стоял стол. На нем лежало слово очки. Оно (сознание слова?) потянулось всеми своими мыслями и встало с головы на ноги. Уселось на потолке рядом с люстрой, с аппетитом позавтракало стеклянным плафоном и пошло дальше на запад.

На западе (в углу квартиры) стояло кресло-кровать. Некогда цвета города Бордо. Сказали, что это Кельнский собор, оно (сознание кресла?) вышло во. Там был водопад миров. Нашему сознанию (неизвестно чего или кого) было трудно сориентироваться здесь: где верх, где низ, где находишься само, если видишь себя со стороны?

Сосредоточиться было так трудно, что, не мудрствуя лукаво, сознание взяло да и растеклось во все стороны. С чем вас и поздравляю.

РЫБА И ЛЕД

Было воскресенье, и поэтому днем шлялось очень много народу, но к вечеру, слава Богу, все разошлись. Я остался один в своей конуре. Слышно было, как скребутся мыши. Просыпаясь ночью, часто видел их, – они возились в урне, маленькие и черные, вроде смертного греха. Иногда они бегали друг за другом по всей комнате, уже не обращая никакого внимания на присутствие человека. Кроманьонец со скукой думал: «Вся эта возня происходит из-за куска хлеба или дефицита самок». Каждая мышь двигается зигзагообразно и походит на заводную игрушку. Часто ему казалось, не мыши, а броневики курсируют по линолеуму. Над ними кружатся комары-истребители. Он воображал войну и мир. На этот раз шорох был какой-то странный. Обычно мыши скреблись непродолжительное время в одном углу, чтобы потом возобновить свои изыскательские работы в другом. Сейчас же уже в течение получаса шум исходил только из одной точки пространства. Это стало меня раздражать. Я громко стукнул ногой об пол. Никакого эффекта. Человеку пришлось встать и проследовать в тот угол, откуда распространялся звук. Он опять громко топнул ногой, и снова никакого эффекта. Кто-то невозмутимо продолжал заниматься своими делами, не обращая внимания на гнев царя природы. Тогда царь согнулся в три погибели, чтобы получше исследовать озадачившее его явление, и увидел на полу жука. Это был довольно крупный жук-ипохондрик, правда, не золотой, но бронзовый. Царь быстро высыпал спички из коробок и заключил нарушителя государственного покоя в карцер. Я приложил коробок к уху. Кроманьонец упорно скребся во мраке времен. Комната тоже похожа на коробок, с тревогой подумал царь и представил себе гигантское ухо ангела (или черта?). Волосы на этом ухе были в палец толщиной, в ушной раковине сладко спали Шаман и Венера Боттичелли. Человек поежился: так неприятно осознавать, что есть некто высший. Нечаянно мой взгляд упал на пустую коробку, в которой раньше хранилась бумага для записок. Я тотчас пересадил жука в более просторное помещение. Теперь можно наблюдать сверху, как бронзовый шестиног сломя голову носится по картонному каземату, беспрерывно стучаясь лбом об стены. Видно, вся тварь ненавидит стены, сформулировал царь новую биологическую аксиому. Вскоре, однако, насекомое прекратило бесполезные

и хаотичные перемещения по горизонтальной плоскости. Оно подобралось к одному из углов коробки и, широко расставляя ноги (руки?) во все стороны, попыталось взобраться наверх. При этом оно опиралось на заднюю пару ног, как наиболее длинную, но стоило только ему оторвать эти ноги от пола, как жук срывался и падал на грязное дно ямы. Тут же без малейшего промедления все начиналось сначала. Царь размышлял, интересно, насколько оптимальна стратегия жука, насколько верно применяемое им решение; корректирует ли насекомое свое поведение в связи с непрерывными падениями со стены и, если оно меняет тактику, то можно ли считать, что жук способен принимать и пересматривать избранные решения? Наконец, он прекратил взбираться по двум плоскостям сразу и сосредоточил свои усилия на одной. Ипохондрик выбрался на край коробки, бросил хмурый взгляд на письменный стол и отправился вниз по стене. Видимо, этот способ передвижения оказался еще более затруднительным, чем предыдущий, ибо бронзоволикий пешеход на самой середине пути вдруг изменил направление на 180° и пополз наверх, перемахнул через край и снова свалился в коробку, из которой ценой невероятных усилий выбрался несколько мгновений назад. Безрассудство жука повергло меня в трепет. Значит, он не ставил целей, не понимал собственных действий, а просто двигался в соответствии с заданной программой. И поэтому, выбравшись из коробки на край великой стены, не закричал свободно и радостно, вот я, Господи! Но тупо полез обратно в теплую и вонючую яму. Царя прошиб холодный пот, он представил себе, как кроманьонец, выбравшийся из платоновской пещеры на свет, вместо того, чтобы бежать в зеленеющие луга воображения для встречи с бабочками и неизвестными драконами новых пространств, бросает равнодушный взор на открывшуюся перед ним необъятную панораму и снова удаляется под землю. Царю захотелось наставить жука на истинный путь. Нужна лестница, – смутно вспомнил он ветхозаветный сюжет и опустил в коробку шариковую ручку. Жук, не раздумывая ни секунды, бросился к ней...

Существо сорвалось с «лестницы» и шмякнулось на полированный стол. Оно упало на спину. И царь смог в который раз наблюдать феномен черепахи. Кажется, Мелвилл описывал, как последние в течение долгих дней медленно поджариваются на солнце, а потом моряки обнаруживают

полые панцири на берегу океана. Я долго созерцал мучительные потуги, бронзовый пришелец так отчаянно шевелил всеми шестью лапами в воздухе, что даже передвигался на спине по блестящей поверхности стола куда-то на Запад. Титанические усилия жука встать на ноги напомнили царю и другое трагическое зрелище. Только что пойманная рыба, бьющаяся на льду. Какая нелепость! Уже не враждебная суша (берег), а родная вода, скованная морозом, не позволяет молчаливой паломнице вернуться в желанную стихию. Где-то рядом чернеет лунка...

Игольное ушко Врат Спасения. Разве наше знание в чем-либо принципиально отличается от премудрости рыб и насекомых? – вдруг озарилось вопросом сознание царя. Ему стало стыдно перед жуком. Впервые он совершенно ясно почувствовал: нет ни малых, ни великих, – существуют лишь определенные концентрации разума в неких точках пространства, и главное состоит совсем не в том, чтобы всеми силами цепляться за личную дозу персонифицированного сознания. Кроманьонец в конце концов должен будет преодолеть свою капиллярность и слиться навечно со всеми разумами мира, постигнуть их исходное единство, братство. Он посадил жука на ладонь и вынес его в сад. Было уже темно, в сумерках бронзовый панцирь чем-то походил на медный крестик, который бабушка Вера подарила несколько лет назад. Крест такой старый, что все изображения на нем стерлись. Осталась только идея: Распятие.

РИТУАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Утром ко мне опять пришел туман. Толпы людей шли через мост с флагами. На том и на этом берегу Малой Невки гремели репродукторы, налаживая праздничное настроение. Подошел к самой воде и снял шляпу. Туман сделал подарок: по реке плыли разноцветные воздушные шары. Они летели и скользили по воде, подобно мыслям праздного человека (фэн-люй). Фантастическая бесплотность окружающего пространства породила их просто так, без всякой насущной цели (необходимости). Шары были естественны как листья деревьев, снежные (песчаные) линии или звезды. Не запятнанные суетой происходящего, они жили истинной жизнью формы.

Ни неба, ни земли больше не было, только нечто колеблющееся, зыбкое. Мир превратился в ладан. Он принимал под воздействием божественного шепота все новые и новые конфигурации.

Изучение «я» неизбежно приводит индивидуума к мысли о пространстве. Он становится пространством, именно пространством, а не его моделью. И сколько бы человек не шел по полям сознания, он не достигнет пределов. Предел – это мы сами.

Словно по сигналу желтого пятна, обозначившегося в парадоксе атмосферы, воздушные шары проделали в тумане длинные туннели, и в них исчезли мыльные пузыри воображения.

Я сдал дежурство и пошел к бабушке. Недавно брат прислал ей для меня из-за границы книгу. «Взгляд сквозь столетие». Она обрадовалась, ведь я давно не был у нее. В углу стояло большое венецианское зеркало. Его обрамляла позолоченная ажурная рама. Это зеркало вместе с бабушкой сумело пережить блокаду. Потчуй чаем с лимоном, бабушка долго и пристально разглядывала мое лицо, находя сходство с дальней родственницей, которая повесилась еще задолго до ее рождения, в конце XVIII века.

СКАЗАНИЕ О ВЕЛОСИПЕДИСТЕ

Это был деревянный мостик над канавой. В канаве жили лягушки, на даче – субъекты. Один из них катался на велосипеде по лесной дорожке. Ему было от силы двадцать миллиардов или чуть больше лет. Какая разница! Бабушка утверждала, что вселенная – это большой муравейник, только его обитатели тащат в дом не дохлых гусениц и палочки, а слова. Они хотят построить муравейник из слов, допытывался субъект. Бабушка ничего не отвечала и отправлялась на станцию в магазин.

Там толстые женщины стояли друг за другом. Кошка неподвижно лежала в углу. Мы вставали в конец очереди. Приходил поезд. Мать велосипедиста несла в руке журналы. Шел густой снег.

Уходя далеко в лес, велосипедист никак не мог понять, зачем ему возвращаться. Среди деревьев и шорохов было гораздо лучше, чем среди вещей и субъектов. Велосипедист думал, что единственное средство жить в мире с самим

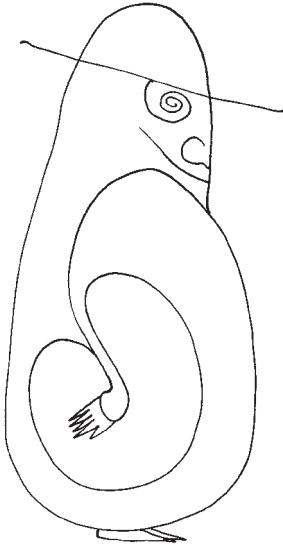
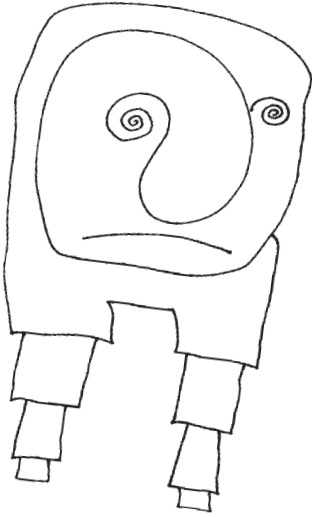
собой, это не жить с людьми. Но тогда ухал филин, ты не из нашего леса, ты должен жить в своем лесу. И велосипедист шел в большие дома, где в стеклянных витринах лежали тысячи тысяч предметов, а на стенах тускнели картины. Он видел, как в саркофагах спали прозрачные египтяне, и содрогался от хохота жирных голландцев, а надо всей громадой вещей и осыпающихся красок возвышался распятый на деревянном кресте Бог.

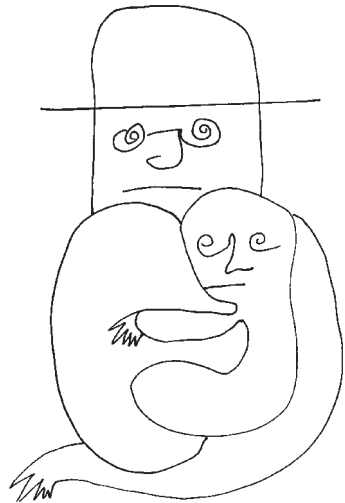
Бабушка умерла, и велосипедисту не с кем стало говорить о вселенной. Он стал исихастом. В канаве плавали головастики.

Потом он покупал книги, ставил на полки, чтобы слушать ночью шорох их запытых и сучьев. Но его лес был еще слишком мал, и проходящие мимо путники легко замечали, как сверкают на солнце спицы велосипеда. Он понял, за одну жизнь леса не вырастишь... Значит, надо прожить несколько жизней. Велосипедист стал рисовать и сочинять книги. Рисунки, словно листья деревьев, устилали землю в лесу. Книги стали птицами. По утрам они доверчиво клевали знаки из ладоней и щебетали в лиловом сумраке.

Иногда он отправлялся в путешествие. Делал привал у водопада. Пил воду и смотрел, как бесчисленные капли разбиваются о камни. С каждым глотком тело становилось все легче и легче, вскоре он уже летел прямо на огонь оплывающей свечи. Первыми загорелись волосы, казалось, пламенный венок облегал его голову.

Проходило какое-то время, велосипедист возвращался обратно в лес. Тело и лицо у него были уже не те, что прежде.





ВСТРЕЧИ С ПОЛКОВНИКОМ ПОДЛЕГАРСОМ

1. Предыстория одного звонка
2. Сом-сон
3. Этюд для холодильника
4. Тибетский проспект
5. Похоронная команда бабушки Вера
6. Последний вопрос полковника Подлегарса

ПРЕДЫСТОРИЯ ОДНОГО ЗВОНКА

Купили мы однажды с бабушкой картофелину для драников. Сняли с нее кожу, а она как заорет благим матом, отдайте мне назад мундир и эполеты! Бабушка тотчас вернула покойнику (это оказался полковник) кожуру, он взял гитару и запел.

*Какой нелепый, призрачный вагон!
Корнет блюет на бархатном диване.
Мерцает золото погон,
Окурок плавает в стакане.*

Бабушка посмотрела на меня с укором. Виноват, ваше благородие, сбился, в сознании не та дверца открылась, и я в чужой рассказ вляпался. Огорченно махнув рукой, бабушка пошла на скотный хутор, первый блин печь. Не все коту масленица. Полковник стоял на коленях и молился. Дайте, говорит, мне точку опоры, и я весь земной шар переверну к чертовой матери на письменный стол. И, точно, под стул упал глобус. Полковник сказал, это к дождю и перемене места действия. На всякий случай я купил карту Южной Америки. Не болит голова у Боливии и Свидригайлова. Бабушка рассердилась вновь. Зачем ты людям голову морочишь?! Ишь Вельтман выискался. Марш спать. Это мне лет восемь дали за распространение гриппа. Лег на раскладушку под нары и думаю, жалко, что ничего не знаю, а то бы стал Бхагаватгиту переводить на церковно-славянский. Я учусь во втором классе, второй год Салтыкова-Щедрина прохожу. Он мистик. Пророк-с. В своих произведениях такую систему разработал, что бабушка Вера называла его собрание сочинений в двадцати томах «Феноменологией Русского Духа». Неудивительно, что там часто упоминается о навозе. Фекальные массы. Факелы. Тыща и одна ночь третьего Рима. Я просыпаюсь уже в десятом классе. Рою канаву канала. Бригадир читает роман «Утром три». Это ты написал, спрашивает он землеройку. Длиннейшее и дальнейшее молчание. Кедры. Кадры решают все. Полковник в фуфайке ходит около костра, на небо поглядывает, любуясь категорическим им-

перативом. Выкопал я канаву аж до Египту. Захожу в гробницу по малому делу, включаю электричество и вижу, Изида сидит на контроле. Я в слезы, сколько это терпеть можно, мочи моей больше нет. А богиня, знать себе на уме, помалкивает, как будто у нее не покрывало на голове, а кляп во рту. Вернувшись с того света в Петербург, захожу к бабушке. Она тогда графиней была и жила на Большой Морской. Там полковник. Он при эполетах и с георгином на груди. Что, спрашиваю, опять японская война, Хиросима и Нагасаки. Покойник достает из платинового портсигара карту Европы и в камин швыряет. Нету больше дорогих могил, Настасья Филипповна. Кончен бал. И точно свет погас, вода перестала, на улице стрельба. Закад евробы начался.

Бабушка принесла блин, прочитала рассказ и перекрестилась. О-хо-хо, грехи наши тяжкие. Полковник продолжал разлагаться по радио. Ну что бы еще такое написать, подумал я, со страхом глядя на кончающийся лист. И тут раздался резкий звонок. В дверях стоял ангел с Дворцовой площади. В руках у него были крест, маузер и стопка чистой бумаги.

СОМ-СОМ

Мне было тринадцать лет. В ванной плавал живой сом. У него был очень большой лоб. Наверное, это Лобачевский, со скукой подумал я и вышел на балкон. Внизу на качелях парило эфирное существо в оранжевом платье. Мне тотчас захотелось спуститься во двор и взять существо за руку. Дальше соединения конечностей моя фантазия еще не смела продвигаться. Маленькая ручка, возможно, покрытая цыпками, не очень опрятные, обгрызанные ногти... Я вернулся в ванную, взял сома за хвост, рыба недовольно дернулась всем телом. Кистеперая рыба протянула мне руку, я поцеловал ее и отправился обедать к Чарльзу. Череп-аховый суп. Потом, целуя женщинам руки, я всегда вспоминал «Происхождение видов». Того сома пришлось убивать молотком. В отличие от крупной мелкая рыба дает возможность едоку картофеля созерцать не только отдельные фрагменты костей, но и весь скелет полностью. Так бесшабашная корюшка оставляет на тарелках горы блестящих елочек. А потом каждый Новый год их ставят в угол комнаты. Вокруг бродят,

взявшись за конечности, пухлые розовые дети. Через определенный промежуток времени скелеты детей этих детей выкопают археологи, сфотографируют, измерят рулеткой... Дети станут достоянием суки-науки. Я поставил скелет сома в угол комнаты и повесил на него кисти рук винограда. Виноград, как и человечество, был вечно зелен. Ко мне пришли гости, полковник с мулаткой. Давайте сменим тему, предложил полковник, прочитав предыдущее.

Однажды я обнаружил у кузины маленькую книжку. На ее обложке была изображена пышная роза. Книга называлась «Девушка становится мужчиной». Фаллопиевы трубы органа, мечтательно просипела мулатка, захлебнувшись напитком. Мы выпили еще по стаканчику сомы. Полковник продолжил, особенно странным мне представляются губы, зачем розе столько губ? Кожедуб, не расслышала смуглая леди мини-сонетов. Это напоминает беседы у постели роженицы, вдруг сообразил начитанный автор. Но было уже поздно. Волосатый верзила в белом халате крепко сжимал мои ноги. Он дал шлепка по тому месту, откуда прежде рос хвост. Я заорал, проверяя наличие голосовых связок. Они работали удовлетворительно. Когда взрослые протягивали мне палец, я крепко хватался за него обеими ручонками, ведь там, в розовой мякоти, были погребены кости моей кистеперой пра-пра-прабабушки. На тринадцатый день после моего зачатия, мулатка подарила трехколесный велосипед и детское мыло, полковник – «Котлован» Платонова. Мы вышли из Театрального ресторана, крепко взявшись за пуповины. Наши эмбрионы поцеловались на углу Литейного и бульвара Сен-Мишель. Мулатка поучала, ты теперь будь умнее, как увидишь рыбу с руками Чарльза Чаплина, так беги от нее во весь дух, пока сознание не потеряешь. Сознание – это штука вроде клуба кинопутешествий, не отставал от мулатки полковник, одно слово – монтаж. Из-за угла выплыла корюшка в белоснежном презервативе. Сом с кистеперой следом. Мы бросились в разные стороны. Шел дождь велосипедов. Сан-сара-а-а я, сан-сара-а-а я – пел дует педалей. Утром обнаружил себя в Лисьем носу. Мое еще влажное тело извивалось в песке. Большой оранжевый клюв полковника Подлегарса, как молния, сверкнул на фоне серого неба...

Мне было тринадцать лет. В ванной плавал живой сон.

ЭТЮД ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Полковнику никто не пишет, и он почем зря ругает Маркеса. Бабушка Вера летает во дворе. Полковник витийствует сегодня в мармеладовой манере, ибо на столе водка и свежепросольные огурчики из Нежина. Я по-прежнему роюсь, как свинья в апельсинах из Марокко, в цитрусах цитат. Я теперь совсем китаец и речь моя стала бездонной аллюзией. Но полковник теребит автора за косячку, прося дать ему время и место в орнаменте этих иероглифов. На здоровье, покойник! Ваше слово, товарищ Маугли. Полковник откашлялся: «Печально знаменитый писатель Максим Горький, как известно, обладал изумительным чутьем на посредственность. Русская литература весьма обязана ему той удручающей незначительностью, которая стала эталоном одаренности. Подобно Пешкову, Маркес принадлежит к числу необыкновенно мощных сорняков культуры. В известные эпохи эти сорняки начисто заполняют литературное пространство, вводя тем самым в заблуждение наивных читателей. Последние, бродя по заросшему бурьяном огороду, поют ему оды и застывают в немом восхищении перед автографом каждой коровы. Но...». Я заткнул полковнику пасть. Вы же обещали проболтать свой монолог, используя поэтику униженных и оскорбленных Макаров, куда телят не гонял даже Иероним Босх?! Бабушка крикнула в форточку, пролетая мимо, Михаил Евграфович говорит, что он кобенится. Полковничьи погоны густо полиловели. Он нервно сглотнул слюну. Я налил ему водки в скрибовскую емкость. Не буду пить из чужой посуды, взорвался полковник.

Мы оставили покойника мыть стаканы, сославшись на высокий образец Модильяни. А сами отправились смотреть карнавал сознания дальше. В Риме (первом, а не III-ем его отделении) встретили Гоголя. У него не было денег на обратную дорогу. Ну и что? Кто это говорит?! Прошу не мешать вести мне повествование в свободной манере коротких замыканий нейронов. Какие электромагнитные бури разыгрываются там, какие химеры перебегают из одного полушария в другое! Да и черт с ним, с полковником... Стоп. Мысль замедлила свой бег. Плавнее, плавнее. Анданте. Полковник не

умеет любить, в этом его трагедия. Он просто привязывается к людям или искусствам, треплет языком, причем иногда даже по делу, но он не любит.

Полковник, поникший и трижды убитый, плелся по раскаленным сказкам улиц Италии. Спасительная прохлада симплонского туннеля не облегчала его страданий. Я не знал, чем можно помочь ему. Почему одни способны любить бескорыстно и по-детски, а другие всю жизнь изображают восторги, которых сами не переживают. Иуда предал Христа именно в силу этой ложной восторженности, он только играл в любовь, как многие разыгрывают оргазм, как технократы научились играть в литературу. Сологуб был прав, придет инженер, он нас...

Полковник, тебе ли, другому ли скажу...

Бабушка Вера принесла мне чаю. Не слишком ли патетично, спросил я, указывая на это еще не остывшее многоточие. Она улыбнулась и сунула рукопись в холодильник, на белой дверце которого было выведено «NEVERMORE».

ТИБЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

Едва я вошел в кабинет, сплошь заставленный трупиками цикад, как полковник Подлегарс заорал в агофон, назовите ваше настоящее имя! Но у художника нет имени, у него вообще ничего нет, кроме НЕТ. Поэтому моё я молчало. Полковник окончательно рассвирепел, вы кажется забыли, где вы находитесь? Почему это забыл, слишком даже хорошо помню – в XX веке. Полковник вышел из-за себя. Мой друг, завтра тысячи продов и продок, все как один, начнут новую Божественную комедию, отчего же вы остаетесь в стороне и не пытаетесь слиться с инакородным телом, дабы предаться безмятежным радостям духовной агонии. Дорогой мой человек...

Тут в кабинет въехала на велосипеде бабушка Вера, позади нее на осле колыхался Михаил Евграфович. Я им очень обрадовался и заснул. На другой день в Пекине произошло ЧП: полковник Подлегарс застрелился из указательного пальца на консервативной квартире бременских музыкантов. На его похоронах Михаил Евграфович сказал буквально следующее: мы устали хоронить това-

рища Подлегарса. Вечером, глядя в окно на белую пагоду, я подумал, а что если... Взволнованный этой мыслью сел на велосипед и приехал наоборот. Огляделся вокруг – опять белая пагода. Ничего себе, думаю, МДП-то как разбушевался. И Подлегарс выходит из-под земли в багровой мантии, словно последний день Пномпеи. Я вспомнил Карлу Брюллова, сбросил с себя идеологическую мишуру и припустил нагишом под крылышко римско-польского Папы. Только опять не туда попал, вижу, пизанская башня падает на расстрельную колонну, а та на вандомскую, а та на пятаю... Голова моя закружилась, как у Гончарова. Захар уложил на диван. Было темно. Там встретил джамблей, они летели на дирижабле на тот свет. Решил прокатиться вместе с ними. Командир корабля первым делом спросил, как вас теперь называть? А я-то, святая простота, надеялся хоть здесь от вечных вопросов-допросов отдохнуть. Ничего себе история для вятого класса средне-приходской школы.

Вскоре меня пригласили на литературный обед к Петру I. Царь был не в духе и не во плоти. Ты, Алешка, – скот, и ты, Димка, – скот... Потом он заставил их целовать вновь прибывшие трупы коллег-беллетристов. Перепившая амброзии Зинаида безудержно чихала на Зиновьеву-Каннибал. Декадентке такой душ шарко было явно не по нутру. Поэтому из вод Стикса вышли тридцать три уroda во главе с Танькой-разбойницей. Праздник был окончательно испорчен. Петр I бросил в мою сторону медный взгляд. Я не стал дожидаться, подобно карьеристу Болконскому, когда он взорвется, а бросился в гавань. Там стоял «Летучий лапландец» из второй части моего сочинения «Утром три». Быстро вскарабкавшись на борт, я в который раз отдал концы. Академик Тарле пытался нас торпедировать увесистым томом «Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг», но тщетно...

Спустя некоторое время Сронцзангамбо приказал одному джамблю, отнесите эту посылку Николаю Васильевичу. Грустный Гоголь меланхолически развернул шелковый узелок и вдруг изумленно всплеснул руками. В изящной коробочке из слоновой кости перед ним лежал Невский проспект.

ПОХОРОННАЯ КОМАНДА БАБУШКИ ВЕРЫ

Бабушка толкла воду в ступе. Я лежал в гробу и готовился к переэкзаменовке на Страшном Суде. Полковник валялся на раскладушке в полосатой пижаме (он называл ее униформой XX столетия). Ватник изобрел пьяница Татлин, благодуществовал милитарист, Хлебников предвидел блочное строительство, а Хармс – реабилитацию. Это я еще могу постигнуть. Но каким образом Салтыков-Щедрин сумел создать еще в XIX веке работающую модель русской истории?! Не понимаю! Он перевернулся на другой бок и, сосредоточенно разглядывая рваный носок на правой ноге, продолжил речь. Человечество стало жертвой социального инфантилизма. Молодые варвары приняли за чистую монету ветхозаветную концепцию земного града. Но корни людские простираются, тут полковник приподнялся на локте и ткнул пальцем в потолок, туда! Без Бога просто скучно. Атеизм – религия для технократов.

Я погасил свет и закрыл крышку гроба, но и сквозь нее до меня доносился покойничий бас. Сударыня, обратился он к бабушке, невозмутимо тащившей в гору гроб с моими останками, задумывались ли вы когда-нибудь, почему черемуха цветет, а электрические провода неизменны, почему звери линяют каждую весну и осень, а паровозы лишь иногда? Если произведения искусства постоянно открыты для преобразований со стороны реципиента и преломляются по-новому в зависимости от ракурса сменяющихся друг друга культурных традиций, то произведения конвейера статичны, они мертвы и никогда не воскреснут. В искусстве, как и в природе, произошло разделение на живую и мертвую натуру.

Могильщики взялись за лопатки бедного Йорика. Для полковника, проведенного под кедром половину жизни, похороны были событием столь же заурядным, как и день рождения, поэтому он невозмутимо продолжал... Русский футуризм был гигантским прыжком в третье тысячелетие. Они восстали против пошлости, захватившей ключевые позиции в искусстве. Стихи в их книгах снова слились с танцем и жестом. Эти маленькие типографские существа похожи на экзотических бабочек, случайно залетевших в нашу сумрач-

ную эпоху. Быдло никогда не осознает истинно великих открытий, современником которых оно является. Оно смеется, вместо того, чтобы трепетать.

Гроб опустили в яму. Полковник взял гитару и по обыкновению шестидесятников заголозил:

*Что наша жизнь?! Похмелье топора,
дешевый бред гуманных приговоров,
давно постылая игра
в себя не верящих актеров.*

Со мной и на этот раз ничего необычного не произошло. И скоро мне опять предстоит встреча с похоронной командой бабушки Веры.

ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС ПОЛКОВНИКА ПОДЛЕГАРСА

Неопознанные летающие объекты и субъекты литературы. Откуда и куда? Зачем и почему? А по кочану, не выдержал он, по кочану и кочерыжке вдохновения. Дух реет, где хочет. Это понимала еще Кармен. Его нельзя ни дипломировать, ни удержать. Вдохновение происходит по причине перемещения духовных пространств по воздушным путям ноосферы, и человек одинокий парус... Посему эта вечная тоска о буре!

Полковник ехидно ослабился. Мистика, сударь, сероводород пострелигиозных сублимаций. Ваш лексикон безнадежно устарел, и мораль – всего лишь производная железной необходимости свободы коллектива, а коллектив – это Сцилла. Полковник сжал кулак. Взгляните на это приспособление. Мыскулы мозга надо развивать, а не витать в облаках неконтролируемых эмоций.

Железная воля вытянула руки по шитым белыми нитками швам. Писатели в штатском заполнили операционный зал. Мразь тьмы в тюбетейке и со слезящимися от теплоходов глазами давал им наркоз. И они дружно писали пухлые как батоны романы. Они совершили безупречный подвиг предательства, продав паруса и встав на вечную стоянку макулатуры.

Подлегарс инструктировал их в реанимационной. Перед нами стоит задача огромной важности – надо зацементировать-

вать все семантическое пространство. Поэтика профсоюзных собраний, первое свидание на стройке нового антимира, консервированные адамы и евы-эвм, бодрящие ароматы города-зада. Он захлебнулся типографской краской. Не дадим прохвостам и негодьям занять наши нары в Коктебеле! Да здравствует первая в мире и последняя во вселенной! Прямо на плешь Подлегарса (полковника Подлегарса) упала чайка железного занавеса. Уставшие от бурных и продолжительных эякуляций, пролетарии пера отправились закусить чем Тот послал.

Художник может не быть человеком, он только флейта, на которой играют время и смерть, упрямо продолжал бубнить он. Подлегарс встрепенулся под столиком в ресторане, шурша шелковой рубашкой. Вы слышите, какую чушь он несет?! И свободный хор ангелов с демонами ответил ему: мишилс.



СОЛЬФЕДЖИО

1. Пятнадцать скелетов в кисельной реке
2. Диктант
3. Любовь с тенью
4. Уроки терпения
5. Академический час

ПЯТНАДЦАТЬ СКЕЛЕТОВ В КИСЕЛЬНОЙ РЕКЕ

Это был старинный особняк на Фонтанке. В библиотеке нас учили пению. Огромные шкафы в два человеческих роста подобно скалам обступали со всех сторон блестящую крышку рояля – Женевское озеро. По всему периметру библиотеки тянулись антресоли, на которые вела винтовая лестница. Там хранились учебные пособия и скелеты. Их было необычайно много, человек пятнадцать. Скелеты не были похожи друг на друга, некоторые пытались петь вместе с нами, другие, когда звенел звонок, молча опускались по винтовой лестнице и целовали руки учительнице, выражая тем самым благодарность за приятно проведенное время. Учительница рассказывала как-то, основным занятием пятнадцати обитателей антресолей стала борьба со временем. Невидимое людям, оно было отчетливо различимо скелетами. Они воспринимали его, как некую тягучую киселеобразную массу, увлекающую предметы вслед за собой и сообщавшую последним своим течением видимость связи. Скелеты не могли примириться с кисельной рекой и мечтали выбраться на берег. Но это предприятие крайне затруднительно, – продолжала объяснять учительница, – нужно потерять свой нынешний облик и стать ничем, только тогда, может быть, и удастся выкарабкаться из вязкой реки времени. С тех пор мы стали лучше относиться к скелетам, играли с ними на переменах в прятки или пятнашки, стараясь отвлечь их от грустных наблюдений и печальных мыслей о своем бессилии. Они стали мастерить для нас игрушки из лишних костей: свистульки, раскрашенные охрой, маленькие лодочки, красные точки на дне которых обозначали гребцов, ножички для разрезания книг (боясь их обидеть, мы не говорили, что книги теперь разрезаются в типографиях). Один из скелетов решил подарить нам флейту. Учительница всеми силами отговаривала, так как в этом случае исходным материалом должна была послужить берцовая кость. Но этот скелет давно уже потратил на игрушки все свои мелкие кости. За работой не так был заметен кисель понедельников. Наконец флейта была готова. Когда первые звуки поплыли вверх к антресолям, все скелеты вдруг засверкали, будто они были собраны не из обыкновенных человеческих костей,

а из каких-то диковинных драгоценных камней и зазвенели тихо и тонко, как хрустальные бокалы, когда часы бьют полночь. Музыка кончилась, все исчезло, скелеты снова понуро висели на своих крючках, бессильно созерцая тягучее течение вязкой реки. И ведь только что им удалось выбраться на сверкающий берег!

На следующий день, придя в библиотеку, мы нашли на полу множество удивительных игрушек. Здесь были и флейты, и дворцы, выточенные из черепов, и странные блестящие чело-вечки с тремя отверстиями вместо глаз. Чего здесь только не было!

ДИКТАНТ

Учительница пения, сложив ладони под углом в 130° и глядя в них как в раскрытую книгу, диктовала нам.

«Осторожно снял глазное яблоко с вешалки и направился к выходу. В коридоре горела керосиновая лампа алло, дина плавали золотые рыбки и райские очки. Лестница Иакова с голубыми славянскими глазами на выгоне шла навстречу, позвякивая, как канстаньетами, всеми ступеньками и периклами, во рту пылала сигара дирижабля, в гондоле огненного ангела резвились бушующие внуки и бабушки. Одна из них, на вид ей было лет семнадцать, протянула пухлую ручку и потащила за волосы наверх. Запахло паленым и жареным. Бабушка умерла в больнице, а не дома, вскоре после переезда на новую квартиру. Мы выстроились в коре неизвестного мозга. Руки по швам! Неоперированные смущенно прятали их за спину. Жертва монополии протянула шляпу за подаянием, на самом дне ее загадочно поблескивая сюр. Развивая принципы автоматического письма, зашел в розлив. Сто на сто. На улице, как в любой другой горячей точке планеты, происходил процесс существования, который один писатель назвал просто “процессом”. Баба несла сумку с маковой солодкой, розовые мужики в ватниках бежали за. Последние листья на ветке качались как декабристы. Прелесть умирающей культуры заключается не в силе ее формальных достижений (хотя прежде чем окончательно погаснуть, пламя выбрасывает один из своих языков особенно высоко), а в тихом элегическом настроении умира-

ния, пронизывающем все ее творения вне зависимости от авторских притязаний. Опять сдал бутылки. Бутылки – это самое общее и больное место русской жизни. Акупунктура: бутылка, колбаса, дубленка... Шла девушка, т. е. теперь это так принято называть, в замшевом пальто и с огромным куском меха на хрупких плечиках. Я фиксировало ее ноги в лакированных голенищах и маятники хорошо устроенного зада. В районе подобного зада когда-то завязалась интрига его жизни. Шли годы, родственники и бесконечное ю. В Разливе уже горело электричество, мычали коровы, сено мокло под дождем, кривоногий лебедь прятал голову под крыло истребителя. Старик с желтыми зубами держался за цепочку в кабинке общественного туалета. Его сильно качало. Нижнее белье оставляло желать лучшего. Лучше меньше, да лучше. Так было сказано возвышенным персям. Персиянин Аксаков. Аксакал. Скакал. Кал.»

Учительница сложила ладони, как это делают молящиеся. Диктант был закончен. Она спросила, кто из нас видел звук одной ладони. И мы хором ответили, все видели, все. Это «Пощечина общественному вкусу», вторая после Тунгусского метеорита, космическая оплеуха XX века.

ЛЮБОВЬ С ТЕНЬЮ

Учительница пения раскрыла перед ними большую и толстую книгу с цветными картинками. Заходите, сказала она, здесь вам будет уютнее. Действительно, едва мы вошли в эту книгу, как мысли выпорхнули на волю. Они стали плавать вдоль строчек, словно рыбы. Учительница утвердительно кивнула головой, мысли – это рыбы воображения, а воображение только отражает волю волн. Мы сели в желтую субмарину и приехали на Гороховую. В витрине стояли рюрики. Бабушка выскользнула из подворотни дома Распутина. Мы незаметно поздоровались.

Пошел дождь. Тебе грустно, удивилась учительница. Она захлопнула книгу. Друг мой, запомни. Я тотчас забыл. Через три десятка лет вспомнил: 42. Жил когда-то в Египте, потом читал Тураева (не путать с Тургеневым!). Учительница повела меня к врачу. Сверкнула молния, дождя больше не было. Он абсолютно близорук, сказал медонский кюре, если хотите,

можно будет отворить кровь. Голубая Вена. Пур-пур. Юрий Цезарь Долгорукий.

Это не Вена, возразил основатель срединного Рима, а Прага. Пусть будет брага, какая разница. Я встретился с Байроном в пивной, расположенной неподалеку от еврейского кладбища, где похоронен Кафка. Он был в кожаной куртке и говорил по-русски с сильным акцентом. Он раскладывал на столике какие-то тексты и радостно выпивал ром, когда число их достигло ста. Потом поздно вечером бармен выставил меня за дверь, сердито ворча, ваши рассказы слишком схематичны, не выдержан стиль...

Я ушел от них. На берегу Черной речки горели костры, ведьмы истово, словно мороженое, вылизывали козлиный зад. Все было как всегда. По панели прыгали раскованные блохи и подмосковные вечера. Мне было плохо.

Ему было плохо, как никогда. Он трясущимися руками растегнул застежку на фолианте и провалился в книгу, как в сон, успел крикнуть, дети сюжета, прощайте!

Встретил учительницу ю-ю лет спустя. Она жила в Гар-де-Робе. Он сдал ей свою старую маску и отправился за новым скелетом. Учительница крикнула вслед, ты не забыл про мороженое?!

Маскарад. Магические цепи литературы окружили сознание. Ринг. Бой с тенью. Любой с тенью. Любовь с тенью. Пишу, как слышу, потому что глухой. А рисую, потому что слепой. Живу, потому что не жилец. Творчество слепоглухонемых. Абсурд. Аб-суп. Аб-суд. Заумные заупокойные тексты параситов. Роса. Божья роса. Раса. Асса. Оса. Оса-а-а-н-н-а!!!

УРОКИ ТЕРПЕНИЯ

Надо было научиться молчать. Мы набирали воды в рот и жили так год за годом. Неподвижно. Учительница пения не ставила отметок. Она только плакала, сидя за квадратным столом неба. Нет, не от жалости, а из сострадания. Потом нас бросили в кипяток и варили, варили, варили варенье. Все это вранье, закричал полковник, человек возник из прямой кишки. Мы пирожки эволюции. Учительница пения снимала с варенья пенки. Оно булькало в круглом тазу. Учительница с нежностью

смотрела на пузыри, рождающиеся и умирающие со сказочной быстротой. В тазу что-то шипело. Так появились шипящие: змеи и буквы. Все мы одного корня, вдруг воскликнула учительница и прыгнула в таз.

А мы шли гурьбой из века в век, нищие и никому не нужные, брошенные на произвол судьбы. Нас выгоняли ото всюду и называли предателями... Но тут раздавался голос прозрачный, как Ничто, терпение, терпение. Кровь шлифует камни. Поэтому не жалейте своей крови, но бойтесь пролить чужую. Счастье – обреченность, если Бог выбрал тебя жертвой, то не стоит бояться топора. Пора!

Искусство возникло из обряда жертвоприношения и осталось им по сию пору. Учительница пения дала нам новое представление о культуре, как о единстве. Мы научились рассматривать современные нам понятия в мифологической перспективе. Мы построили мост над временем. И вещи стали безымянными. Умолкли.

А полковник по-прежнему орал и кипятился, его пугало надвигающееся молчание конца. Он бил в набат и призывал раздавить гадину. Полковник выигрывал сражения, не подозревая, что победителями всегда оказываются побежденные. Он перекраивал мир во имя грядущей справедливости. Кровью шлифуются камни желчного пузыря рассудка. Гильотина работала как часы.

Но самое ужасное в положении жертвы, объясняла нам учительница пения, это осознание своей чужеродности. Это скитание и непрерывная тоска по Дому, это голод любви. Люди сразу распознают вас и автоматически начинают ненавидеть, ибо им суждено стать палачами. Учительница разлила по бокалам красное вино. Это Ка Гор, сказала она, такое вино давным-давно пили египтяне, они готовили его из крови камней. Выпивший это вино обретает способность летать и становится прозрачным. И мы полетели над временем, над мостом и Черной речкой. Форма подобно ветру и камню, сказала учительница пения, прежде чем протрубила иерихонская труба, возвещающая окончание очередного урока.

А по коридору, громяхая ржавым железом, тащился полковник Подлегарс. Начальные классы собирали металлолом.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАС

Уже после того, как я потерял подаренную мне флейту, была осень и холера. Говорили, что в Астрахань Стенька Разин завез не те арбузы. В некоторых городах появились медные всадники и каменные гости, Бернард Шоу перешел на баранину и кумыс. Учительница пения собрала нас на Елагином острове в один из четвергов последних лет февраля. От холода все вокруг звенело, искрилось, синело. Теперь, когда вы уже стали белыми медведями, прошептал снег ее голосом, я могу вам сказать свое последнее слово.

Все двенадцать учеников застыли в ожидании.

Солнце уже заходило, и сумерки отнимали у реальности статус вещественности, превращая знакомый, изученный мир в таинственное нечто анонимного мифа. Деревья, сомкнув черные ветви, образовывали новый алфавит, а дымы, возносящиеся над рекой на всем видимом ее протяжении, старательно разучивали желто-розовую гамму заката Европы. И какие-то пурпурные птицы наперекор судьбе беспечно летели в сгущающейся синеве. Появился хрусталик полярной звезды и чесночная долька луны. Незаметно с солнечным светом тихо исчезали дневные мы, а на смену этому являлось таинственное и необозримое не-я. Эта смерть была сладкой как мед, нежной как мелодия таящего снега. Мы плавно умирали в лоне неисповедимого Оно, чтобы стать вещами духами срединного Рима.

Потом мы застали себя стоящими вокруг идеально круглой проруби, из плещущей бездны которой вздымался к фиолетовому небу белый, благоухающий ладаном пар.



ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ

1. Белая пагода
2. Падеж
3. Немного ботаники
4. Пурпурные терема

БЕЛАЯ ПАГОДА

Один гад по фамилии Каин построил город. Там меня родили на убой истории общественной мысли. Ваня Жуков с компанией престарелых кровавых мальчигов обглодал седлку дочиста. Теперь я ее рисую тысячу и одну ночь. Вольтеровское кресло около Невы. Я сижу, как Харон или Хармс, наедине со Стиксом и стихами. Вокруг бродит хам. Прямо ногами по стихам. Это не город, а Бедлам. И я собираю цитаты о рвоте и кале. Па-де-Кале. Куропатке Кропоткина раскряжили сопатку. Кали-юга. Кальпа из-под скальпа халата самосознания. Да, я первым (или последним) сказал, что там ничего нет. И никогда не было. Меня (или нас, или их) обрили наголо в городе на берегу Днепра. Кий не любит, когда хлебниковские небоскребы слишком скребутся о синий купол. Я вырос до размера инфузории. Подарил авторское я черепахам и междометиям-магометанам. Стал самописцем Нестором. Летопись эпистолярного жанра. Мемуары. Муму. Почему? Мы всего боимся: собственного невежества, тела, истории, мужиков из пивных дворцов, передовиц и половых от филологии. Но у нас есть преимущество. Веревочки! ими дорожу больше жизни. Эти нити, что простираются в ослепительное Ничто белой пагоды.

*белая пагода смерти
нас увенчает цветами
теми которыми нет
шелестом наших извилин
плавности полночь звенит
белая пагода смерти*

Мы – заповедник, или Веды, или вода. Мы приняли звук за содержание, а содержание сделали звуком. Опрокинулись жесткое схемы Эвклида. Возникли новые сущности, которым нет еще имени. Но вот же они! Слышите музыку букв, видите новые танцы пространств. И ненужная коробка рассудка лежит на дне комода Коробочки. Слово создало мир, оно породило горы с облаками, пальцы и человекообразные автомобили. Мы забыли фонему Отечества, но не навечно... Они первыми оглянулись на Отчий Дом. Ночь. Мирсконца...

Дыхание прервалось. Родился новый абзац. И заяц. И цезарь перешел рыбоконь. На заре ты ее не буди, трубадур. Белая бао-та возникла сама собой по чьей-то нашей воле, и я (это чудовищное я) сразу понял: это есть то.

*белая пагода смерти
корни цветения слов
мы ощущаем как дети
просто за птицами вслед
белая пагода смерти*

Пусть Ванька Каин построил город, первый голод мира. У нас есть Слово. Пустынножители Дао, вот лист чистой бумаги, он перед вами, ну что же вы? Заходите! Двери белой пагоды открыты для всех ничто.

ПАДЕЖ

Захожу я раз, после жизни, в туалет мировой общественности, а там берлинская лазурь губы красит сюриковым. Извините, говорю, я должно быть быть буквой ошибся. И назад раком пчусь. Пятился я, пятился да вдруг и спятил начисто. Гора к Магомету подходит. Я женского рода существительное, почему со мной воздух спать не хочет, бежит от меня сломя голову. Кто бы мне голову починил, сокрушенно вздохнул автор. Откуда ни возьмись ибис (pardon, милые дамы) выскочил. Сделал страшные черные глаза – скатерть белая залита борщом живого трупа.

Такие истории на том свете бывают, потому что там своя грамматика. Дательный падеж, например, никому не дает... Вообще сейчас среди падежей падеж. Об этом пишут во всех газетах трах-тарары. Именительный падеж прорицает язвительно. Человеку скоро халва придет, хурма подорожает. Не лужа в Миргороде была (Гегель ошибался), а море-окиян. Оттуда кистеперая рыба выперла прямо в анналы эволюции. Теперь живет эволюция в желтом доме с канарейками. Винительный падеж больше не стоит на коленях в позе бегущей лани. Он порвал цепи и как с цепеллина сорвался...

Но тут я опять на родную планету вернулся. Сижу за машинкой орел или решка. Брешко-Брешковский. Делать нечего начнем вместе с Данте новую жизнь в новом абзаце.

Ага! тут Лев Толстой подробностями смертной казни интересуется, сидя у себя в Ясном Полене, как Буратино. Тургенев так тот прямо ходил посмотреть (влияние натуральной школы). А этому классику подробности видите ли нужны! Приезжайте в конец нашего века, голубчики, тут такие подробности! Что... А, впрочем, ничего, желтые ботиночки.

Падеж творительный нынче в загоне. По утрам очень страшно. К чему это продолжать? Я должен был жить в родовом замке, как Монтень, а не гнить заживо в ингерманландском болоте. Ква-ква-ква. Может быть, я непонятно выражаюсь? Зато, по крайней мере, цензурно! А кому хоть что-нибудь понятно, тому незачем пить этот безумный чай отчаяния. Мне, например, никогда не было понятно, откуда я родом. Гляжу сквозь интимное отверстие электронного мелкоскопа в глубины материи, а себя не вижу. Ау, кричу всяким ферментам и прямым кишкам. А они не откликаются, не поют. Молчит природа. Видать, не хочет посуду назад принимать.

Мой замок стоит высоко в горах. Он летит сам по себе.

НЕМНОГО БОТАНИКИ

Мы сидели в малиновой гостиной и пили «Саперави». Литературный вечер приближался к своему логическому скандалу. Распоясавшиеся (не в переносном, а в буквальном смысле) славянофилы дули водку прямо из горлышка. Хозяйка салуна металась по комнате с большим алюминиевым тазом. В нем розовели отнюдь не пенки от варенья. Молодой человек в пенсне выразил суицидное желание выпить еще. Ему преподнесли кровавую Мэри Шелли. От одного воспоминания о Франкенштейне юношу тут же вырвало прямо в кинескоп. Раздался нехороший звонок. Вошли люди в серых одеждах, они вплотную подошли к моим персонажам. Пришельцы потребовали, извлекли бланки. Первым подписал бумагу фотогеничный самоубийца, за ним гуськом потянулись остальные иваны ивановичи и иваны никифоровичи. Одна дамочка, романистка, выбежала в коридор, заперлась в ванной и стала кричать не своим голосом. Предводитель рыцарей печального образа действия побагровел, он не любил слушать вражьи голоса. Я хотел разделаться с вами

по-хорошему, сказал вольный каменщик в бледном фартуке Брюсова, а теперь пеняйте на автора и соловья-разбойника. Они скинули серые плащи и засучили рукава. Стало очень тихо, как перед началом операции, даже романистка замолкла в своем кафельном скиту. Было слышно только, как в прихожей снимает калоши старец Зосима.

Опасаясь за целостность своего черепа, а также повторения длинной истории с медным пестиком и тычинками, автор решил отдохнуть немного от причуд русской ботаники и оказался, таким образом, снова в пекинском метро. На каждой станции из погонов выходили одни маоцзедуны, а вместо них заходили другие. Неужели Жуань Цзы тоже стал маоцзедун, с тревогой подумало мое дефективное я. Спонтанно вышел на одной из станций, следуя (по примеру Сократа) подсказке суфлера судьбы, внутреннего голоса. Поднявшись наверх, я оказался перед высокими узорчатыми воротами. За ними прогуливался огненно-рыжий буйвол с огромными рогами. Я долго стоял в нерешительности, ибо общение с несчастным рогоносцем казалось мне... Размышления прервал благообразный немец в виде черного пуделя. Он предложил следовать за трупен-фюрером. При появлении собаки буйвол в паническом страхе бежал. Я тоже не стоял на месте. Впереди белела вершина огромной горы, по которой бродили крестьяне в разноцветных одеждах, словно сошедшие с полотен Малевича. На склонах зеленели бесконечные поля конопли. Внезапно материализовавшийся даос вернул потерянную флейту. И я сразу увидел воздушный замок. Он величественно и в то же время легко парил над суетой существования, походя на православный храм, пагоду и мечеть одновременно. Замок казался пустым. Двери были широко распахнуты. Даос помог мне подняться наверх. В готических окнах мелькали крохотные огоньки-светлячки. Иногда доносился слабый звон колокола. Или бокалов? Множество птиц летало по замку. Они клевали буквы из книг, разбросанных по полу, и улетали куда-то через открытые окна. Из них открывался заумный вид на сад корней. Там гуляли обитатели телемского аббатства. Я долго бродил по замку, заглядывая во множество комнат с растворенными дверьми. В одной из них сидел и что-то шептал беззвучно Велимир.

ПУРПУРНЫЕ ТЕРЕМА

Около подъезда стояли четыре красных телефона-автомата и газетный киоск. Ее отец посылал меня за «Беломором». На шкафу стоял гипсовый бюстик С. Есенина и маленький глобус. Еще была старая шуба коричневого цвета. Много книг. Они валялись повсюду, как и бутылки. Отец ходил с большим светлым портфелем на работу, а обратно возвращался уже без портфеля и под шафе. Она тоже всегда носила большой портфель, в котором было все, начиная от Рильке и кончая пеньюаром. Я любил лежать там на полу, потому что он был сделан из досок и покрашен масляной краской. Еще была дача. Она ездила туда со знакомой, покрытой с ног до головы прыщами, и лечила ее посредством купаний в болоте, а потом поездом разрезало мужа чьей-то сестры, мы лежали под старой шубой и я почему-то был в ботинках, или ехали по неосвещенным улицам в сторону ее дома. Лесной проспект покрывал лед. За окнами трамвая ничего не было, двери не открывались и водитель в кабине отсутствовал. Она принесла флакон спирта. Баба еле-еле выкарабкалась из болота, темный треугольник внизу живота был украшен тиной. Но все же на даче было очень холодно. Тогда мы вышли из трамвая и пошли во Владимирский собор. Священник в золотых очках размахивал кадилом над бюстом ее отца. В яме, на дне которой была вода, почтовый ящик выглядел особенно ужасно.

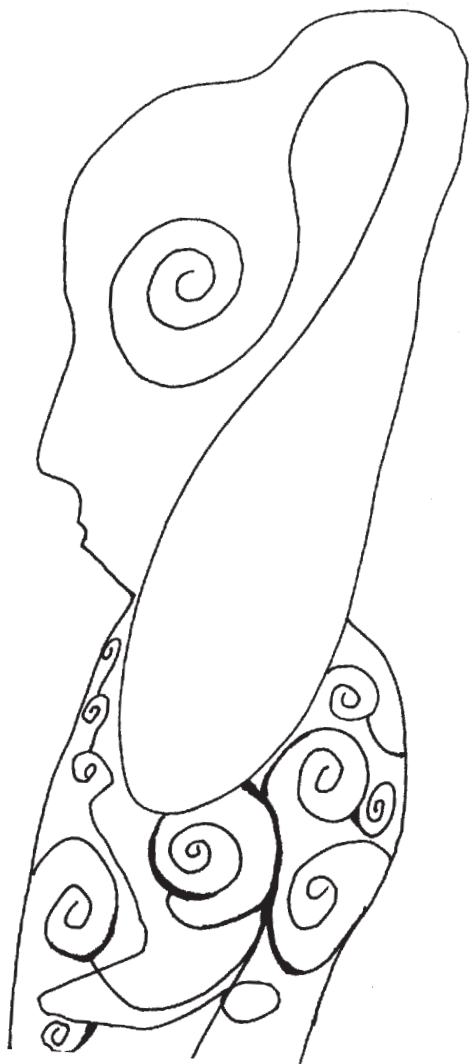
Дверь в квартиру была не заперта, надрывался магнитофон в одной из комнат с раскрытым балконом. Никого не было. Мы вышли на балкон, но не обнаружили мозгов и следов крови на асфальте. Когда открывал бутылку, то, по обыкновению, порезал палец. Она долго лизала его и шептала. На крови, на крови светлый терем сотвори...

Помню, она рассказывала о написанном когда-то трактате, в котором излагался план уничтожения вселенной при помощи автомобилей или еще, как она меланхолично жгла клеенку на обеденном столе и обводила получившееся пятно шариковой ручкой.

Я лежал на полу точно посередине этого рисунка. Золушка – трикстер, продолжал разглагольствовать ее отец даже после того, как повесился прямо в кровати, она призвана реабилитировать грязь существования, но мы-то с вами знаем, что ни

чистоты, ни грязи в природе нет. Мы придумали слова совсем не те, которые есть. Бюст Сераписа тихо покачивался на полу, это бегали трамваи по раздувшемуся животу Золушки.

Вот мой рисунок, сказала она, снимая лифчик. Лифчик был удивительно ветхий, словно его только что извлекли из кунсткамеры. Ты фетишистка? Нет, просто он мне очень нравится, ведь его носила жена Лота. А почему здесь нет окон? Она быстро отдернула черную занавеску, и я увидел свой мозг, омываемый кровью, так камни шлифует море. Видишь, кровь поет... В жилах вспыхнул огонь, и мы взявшись за руки, вышли из комнаты. В длинном коридоре, в самом его конце, сверкало круглое, как небо, зеркало. И вдруг мы увидели в нем себя, вернее, переливающиеся пламенные вихри, цвет которых ежесекундно менялся. Господи, мы увидели новые цвета! Мы могли растекаться, подобно влаге, могли принимать любое обличие, любую форму. Когда зеркало вдруг исчезло, мы оказались в центре пылающей печи, где встретили ее отца. Он жаловался на недопитие и пел романсы. Учился в консерватории до войны. Все снова уселись за лазурный стол. Какая пошлость, не выдержал отец, стол быстро сменили. Вы знаете, сказал он, запивая валокордин водкой, скелет представляется мне прообразом готического собора, католицизм в своей основе глубоко рационален, это силлогизмы Аристотеля в камне, но вера не терпит расчета... Он икнул. Это взрыв человека, это безумная энергия Ничто. Он ткнул ножом в руку. Видите, кровь! это пурпурные витражи плоти, кровь... Мы положили его на кровать, как на эшафот. Тут опять почему-то появилась дача и снег. Прыщавая дама радостно втирала его в лицо и каждые пять минут смотрелась в карманное круглое зеркальце. Мы шли по темным улицам и переулкам прошедшего времени. Красный трамвай мчался, как бешеный, куда-то на край ночи. Был четвертый этаж утра.



В РОЗОВОМ СВЕТЕ

1. Жалобы турка
2. В ночь на первое мая, или Сексуальная революция в технике чтения
3. Торчи вволю
4. Черная кошка с белыми пятнами
5. В розовом свете
6. Апофеоз ипохондрии

ЖАЛОБЫ ТУРКА

Я не русский и не турка, а из Питера фигурка

Н. Лесков. Расточитель

Иногда хочется сочинять текст много-много лет подряд, не считаясь ни с чем. Скучно написанное или гениально, в данном случае, не важно. Главное не останавливаться.

Но меня останавливают на каждом шагу. Не успеешь усесться за письменный стол, как уже пора на работу. Или посылают в магазин за молоком и хлебом. А бедный текст корчится в сознании, рвясь на бумажные и бескрайние поля конопли. Покуда наливают в бидон молоко, текст успевает вырасти на несколько строк. Но настроение пропадает: лица, дома, асфальт внушают жгучее желание застрелиться.

Но застрелиться не из чего. Пью чай. Смотрю на пылящееся лето. Противно двигаться. Вообще противно совершать действия. Хорошо быть бревном или валуном. Окурком.

Салтыков-Щедрин первым сформулировал главную этическую проблему новейшей эпохи: возможно ли в подобной исторической ситуации сохранить жизнь и не приобрести при этом статус подлеца в глазах потомков? Задача неразрешимая. Попытайтесь апеллировать к чести, и вы услышите в ответ конское ржание или пороссячий визг. Честь не в моде.

Поэтому всякое отречение, сколь мизерным оно бы не было, представляется негодьям страшной угрозой для их беззастенчивой безмятежности. И они стремятся обвалить в дерьме каждого всяк сюда входящего. В метрике так и написано: «Ты – давно».

Ты – давно, а коллектив – это Сцилла. Вот и все. Сиди и не рыпайся. Сиди, где сидишь, и благодари Бога за то, что еще сидишь.

И говорят, что будет хуже до тех пор, пока всем не станет так плохо, что – хорошо. А хорошо еще лучше. И будет лучше и лучше. В каждой семье телевизор (он же ревизор). В каждом доме холодильник (он же городничий). В каждом городе парк культурного отдыха (он же шулер Расплюев). Оборотни кругом, которые жаждут только одного – ЖРАТЬ.

На одном полюсе жратва, на другом горшок (пишет Беккет), а посередине гвоздики и крест (присочинил я).

Так мы подошли к главному действующему лицу истории. Это лицо завещало нам интересы духа почитать главнейшими – «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Это лицо учило нас кротости и терпению вечности.

Но проповеди не популярны.

Сидит турок на ободранном диване, курит трубку и думает о самоубийстве. Бедный турок! Бедная Лиза! Бедное говно!

*В НОЧЬ НА ПЕРВОЕ МАЯ,
ИЛИ СЕКСУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ*

Я зажег свечи. Мулатка уселась с голыми ногами на диван. Она только что вышла из ванной. Ее груди, увенчанные натруженными сосцами, излучали ультрафиолет. Сегодня будет шабаш, сказала мулатка. А у тебя нет лишнего билета, поинтересовался я. Глупый, засмеялась она. И мы снова на время забыли о токайском. После коитуса она всегда удивительно хорошела и даже молодеда лет на пятнадцать. Сейчас она сидела и курила, молча выпуская дым через ноздри. Две сизые струйки образовывали в воздухе неизвестные мне кабалистические знаки. Вдруг мулатка погасила свечи. Она вышла на балкон. Там была лестница. Моя партнерша уже карабкалась вверх. Я сбросил халат и тапочки...

Но тут нам стало скучно, и автор решил оставить мулатку в одном приемном покое с полковником Подлегарсом. Он взял меня за руку и повел в лес. Было прохладно, светало. На круглой поляне сидели тлеющие головешки и читали друг другу свои стихи. Это мои родственники, не без душевной боли признался автор. Стало очевидно, что сейчас его вырвет. Они празднуют классическую субботу-у-у-у-у... После мучительных конвульсий лицо автора даже чуть покраснело, он заметно приободрился. Головешки продолжали упражняться во взаимном восхищении. А почему они сидят в выгребной яме, спросил я. Но мой сочинитель, заскучав вновь, бросил незаконченное творение на произвол судьбы и пошел целоваться с головешками. Никто так не щедр на иудины поцелуи как писатели и политики. Интересно кому принадлежит эта мысль, ему или мне? Чувствуя, что до Удельной четыре шага, я, тем не менее, героически продолжал познавать себя. Из муравейника вышла мулатка в лайковом пальто (на затылке кепи) и голосом, не терпящим возражений, приказала:

пошли! Но я же не одет, робко отнекивалось я. Она обрядила меня в крестьянское платье. Все это уже было, с тоской Экклезиаста подумало я, вспоминая «Повести Белкина». Кто это говорит, закричал безличный авторский голос, и я проснулся не на полях сражений рукописи, а снова в одной постели с мулаткой. Она стащила на себя все одеяло, поэтому в лесу было так прохладно. Ее темно-синие волосы слегка колебал бриз, так как дверь на балкон была приоткрыта. Она проснулась и устроила стриптиз. Головешки, сидящие вокруг нашей постели, одобрили рифму. Они продолжали пить за упокой русской словесности. Мулатка потянулась ко мне, и я так...

Как бы не так, грозно закричал голос автора, и он снова улегся в постель с мулаткой, забросив меня куда-то за тридевять земель в кампании с тощей головешечкой. Где ты меня подцепил, флегматично поинтересовалась черная леди. Из пальца высосал, раздраженно ответил я. Фуй, как негигиенично, обиделась дама и направилась в ванную. Через полчаса вернулась розовой, словно молочный поросенок. Ты гений, промурлыкала бывшая головешка, залезая ко мне под одеяло. Нет, я писатель. А что ты пишешь, полюбопытствовала она, приникая губами к первоисточнику. Спустя пять минут я предоставил ей эту информацию. Она проглотила текст с большим энтузиазмом. И мы, наконец, заснули праведным сном без сновидений, где-то неподалеку от Поклонной горы.

ТОРЧИ ВВОЛЮ

Над крышей дома плывет дым. Зимой он особенно элегантен. Люблю его за неистребимую тягу к творчеству. Дым никогда не повторяется и не жалеет о былом. Он настоящий художник. Пить чай и смотреть на бесконечно проистекающие формы...

Дым рисует непрестанно. Он неудержим, пока горит огонь. Есть только один способ остановить его – погасить пламя, но тогда наступит тьма и холод. Значит, искусство есть озарение бытия... Кто упрекнет бабочку за легковесность. Смысл – балласт на воздушном замке бесформенного. Осмелившийся расстаться с балластом улетает из земной норки.

Десять минут четвертого. Солнце уже садится. Дым розовеет, желтеет, синееет... Его нельзя представить вне изменения, вот в чем фокус! Ему нельзя поставить памятник. Его не заклю-

чишь в раму. Пространство – тот же дым. Не надо цепляться за формы, пусть они свободно перетекают одна в другую. Нет ни высокого, ни низкого, ни боли, ни удовольствия, ни жара, ни холода, ни тьмы, ни света, ни жизни, ни смерти... Можно отбросить в последнем предложении все слова, его смысл от этого не изменится, ибо оно лишено смысла, как его лишено вечно становящееся творение, как лишена его поэтика изменений, метаморфоз.

Роз, коз, ос...

ЧЕРНАЯ КОШКА С БЕЛЫМИ ПЯТНАМИ

В телефонной трубке пока еще живой голос моего приятеля быстро выговаривает какие-то буквы, которые по старой привычке мозг синтезирует в смыслы. Не честнее ли было бы (по примеру Крученых) ограничиться просто отдельными звуками. У флейты всего несколько отверстий (как и у человека) и полая трубка, однако пальцы и дыхание заставляют ее или позволяют ей говорить. Так неужели знаки столь беспомощны, неужели мы вечно обречены иметь дело с соловьями, вином и многочисленными разновидностями ослиной борьбы за существование. Я давно, например, не борюсь за существование. Оно мне просто не по карману. Поэтому до тех пор, пока кто-нибудь из сердобольных родственников не отдаст мне старые ботинки, я не могу идти в ногу со временем. Да и вообще, не думаю, что время пригодно для строевой службы. Не ищу смысла жизни, ибо уверен в обратном.

Жизнь принципиально необъяснима. Нельзя объяснить Бога. В противном случае Он непонятен. По сути, любое объяснение (открытие) только ближе подводит человека к исходной необъяснимости бытия. Однажды осветив один кусок темной комнаты, мы принялись методично (во всяком случае, так декларируется) освещать все ее части, уповая на то, что комната не изменится, пока мы пытаемся из увиденных фрагментов сложить целое. Да, и кто сказал, что это комната?..

Странно смотреть на спешащих людей... Почему никто из них не застывает на одной ноге, подобно страусу и Сократу, никто не усаживается лицом к стене (спешащие люди привыкли вставать к ней затылком) на всю жизнь. Польза сделала их расчетливыми и осмотрительными. Они ошибаются только

один раз. То есть, практически, беспрерывно. Это комедия ошибок, которая на их высокопарном языке называется прогрессом науки и техники. Но сила сущего измеряется (по системе мер и весов Лао-цзы) его слабостью. Поставив во главу угла силу, общество выносит за скобки все лучшее. Тупая эскалация пошлости.

Около моего дома, у красного телефона-автомата, который год подряд неподвижно сидит очень толстая буддийская кошка, белая с черными пятнами. Мой пока еще живой приятель утверждает, она ждет, когда кто-нибудь сообразит дать ей две копейки – кошка хочет позвонить в нирвану.

А, может быть, кошка просто святая?

В РОЗОВОМ СВЕТЕ

Пустая комната. На столе лежит обескровленная вселенная. Двуногие без перьев, но в халатах. Значит, комната не пустая? Пустота – полнота. Упыри пустоты. Пузыри полноты. У вселенной волосы расчесаны на прямой пробор и зовут ее Раша. Кусочки протоплазмы, розовые кусочки протоплазмы в белом ведре. В этом ведре все мы бродим по замкнутому кругу... Господи, неужели Тебе нужны эти обрубки?! Грязь под ногтями, пот, эмбрионы. Я опять подставляю к креслу два стула и ложусь спать, я ложусь в Я. Огромное неподвижное возникает оно каждую ночь на горизонте сознания. Черное солнце небытия.

Вселенная Раша работала на фабрике и училась на курсах повышения. Я все забыл, и имя, и формы, и пальцы. Они такие чужие, эти десять червей из преисподней. Могилой мира будет труд. Сад Дзержинского. Ураганные настроения. Астуриас. На потолке пятирожковая люстра, почему-то горят только два. Черт-люстра. Приснилось слово, большое облако слова, я бродил внутри этих бесконечно пустых залов, пока уборщица не постучала в окно. Синий халат и половая розовая тряпка посередине. Еще говорят, надо учиться рисовать с натуры. Но где взять натуру? Все – во мне, я – во всем. Китайцы никогда не рисовали с натуры, в крайнем случае, по памяти. Кругом возможно Бог. А разве Бога рисуют с натуры. По-моему, это кощунство. Рисунок должен являться сам, как являются сны или мысли... Обрубок между тем катился по берегу Малой

Невки, помахивая рыжей бородавкой портфеля, пока его не проглотил троллейбус. Остановка тапочки. Смежная комната, секретер, на котором белеет гипсовая голова северного человека. Книги. Рукописи. Клопы. Рисунки.

Вселенная Раша предложила встретиться после аборта. В фойе кинотеатра висели картины самодеятельных художников. На желтом песке у самого синего моря лежали розовые люди, наблюдая закат термоядерного реактора жизни. Потом (черт его знает, что это такое потом?) пили в мороженице сухое. У стены стоял штабель полусгнивших деревянных ящиков. Работяги приканчивали последнюю бутылку розового портвейна. Буфетчица пересчитывала деньги. Фиолетовые, розовые, синие, зеленые и желтые бумажки так быстро мелькали в ее ловких пальцах, что казалось еще мгновение и над стойкой возникнет радуга. Раша рассказывала о своих новых покупках, а также о приобретениях подруг по общежитию. Это была грандиозная торгово-закупочная сага, конец которой мог положить, наверное, только Армагеддон. Раша существовала подобно медузе, она даже и не помышляла о возможности плыть против течения. Существующий порядок вещей был для нее таким же непреложным явлением, как физиология. Приятно было слышать звуки бесхитростного журчания ее речи, они не мешали думать о своем. Банальность рашиных монологов убаюкивала, создавала атмосферу душевного уюта, я начинал соловеть, так бывает после обильной трапезы, когда не остается ничего другого как завалиться спать. Иногда, когда они уж слишком затягивались, эти сказки из потребительской корзины начинали меня раздражать, но я старался сдерживать эмоции. Не люблю поэтику скандалов. У Достоевского очень шумно, как в очереди у «Пассажа». И галдят, и галдят, и галдят – точно куры у навозной кучи. Бестолочь какая-то эти русские мальчишки из трактиров! Всё сидели и ждали, когда половой из-под них стул выдернет, и дождались.

Вселенная Раша продела, точнее обернула свою руку вокруг моего локтя, так змий обвивал дерево. По потолку бежали сумасшедшие тени, неизвестно кого или чего. Глядя на мои рисунки, Раша всегда молчала. Так же она молчала до, после и во время и потом. В этом молчании не было значительности, ни глубины. Если мне слово представлялось теперь такой же исчерпанной формой, как и сам человек, то вселенная Раша к

слову еще и не приступала... Эти мгновения нашего взаимного молчания иногда казались самыми главными эпизодами моей жизни. На меня нисходила некая абсолютная пустота и безразличие полного покоя. Я называл эти моменты репетицией нирваны. Но проходило немного времени, и жизнь опять брала мертвой хваткой за горло.

Розовые обрубки в черном ящике без дна продолжали играть в существование. Они играли серьезно и безобразно, как в жизни. И я знал, что у меня хватит терпения досмотреть до конца этот идиотский индийский фильм. Вселенная Раша счастливо улыбалась и плакала, глядя на мерцающий экран.

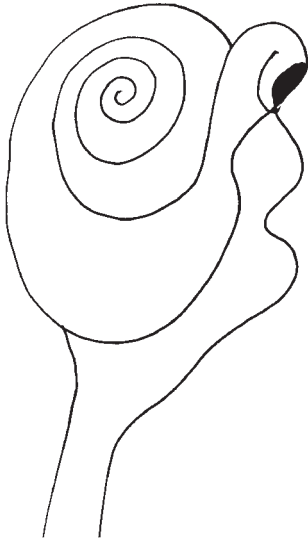
АПОФЕОЗ ИПОХОНДРИИ

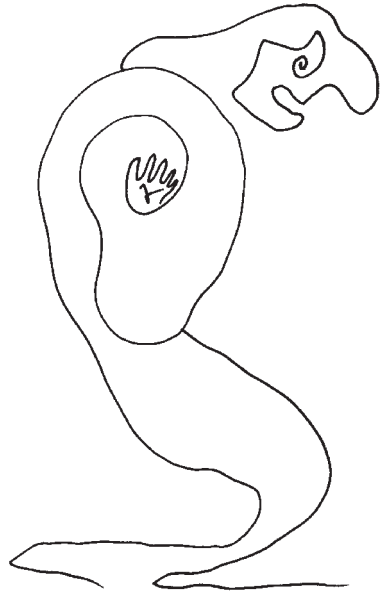
Не то, что жизнь уходит, а то, что ее не было, – странно. Темная ночь. Пустеющие объемы гегемонизма. Напротив совершенно желтый берег слоновой кости. Мыши уже в кресле. Смерть – венец творения, лучший из плодов Эдема. С каждым шагом темнеет мозг. Даже на крик нет ни сил, ни голоса. Остается лишь молчание как таковое. Или идиотские беседы с другими. Они не ведают ужаса. Когда идешь, а земля все время уходит из-под ног, и сердце упадает в ничто, и капли пота на лбу, то последняя мысль все-таки о том, чтобы не рухнуть в центре на виду, а лучше где-нибудь на периферии (в углу). Тихое подыхание. Дорожка в саду скользкая. Темно. Портфель с бутербродами и Салтыковым. Мимо прошмыгивают черные речки, птички, прачки. Двигаюсь, как насекомое, на свет прожектора. Вышка. Водка.

Но вдруг, словно переключили рубильник, приступ сентиментальности. Очеловеченные мысли. Но доминирует желание покоя. Мне плевать, плевать какой ценой! Только бы не это сморщенное (скрюченное) существование впотьмах. Зачем цепляться за жизнь, чего ждать от старости? Повторения юности?! Так она страшнее смерти для меня.

Утро. Глаза слипаются, мозг отказывается соображать, что бы то ни было. Осушив заварной чайник, стекленею. Парение над садом. Внизу река и мосты. Все ясно до безумия. Полное отсутствие эмоций, чистое созерцание пространства собственной гибели. И радостно, что Бог послал этот жребий. Радостно, что все зря.

Прозрение.





ЛЕТАЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ХУДОЖНИКА ВОРОНИНА

1. Поминки длиною в жизнь
2. Космология в двух частях
3. Огонь агонии

ПОМИНКИ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Его не стало между пятью и шестью часами московского времени. Впечатление, произведенное этим событием на мировую общественность, можно охарактеризовать лаконично – наплевать. После уроков я любил играть в Гефсиманском саду. Или читал Провозвестие Рамакришны, качаясь в гамаке, сотканном из разноцветных чернил. Бабушка к совершеннолетию подарила разбитые песочные часы и компас без стрелки. Родственники не были удивлены его смертью, они скинулись на железный гриб и съездили в крематорий послушать музыку. Я родился после того или этого времени года. Его отец разбил шатер на берегу небольшой Черной речки, купил вина и пирамидон для гостей. Кочевники были рады празднику, они тащились сорок лет по безжизненной равнине. От белого цвета болели глаза, многие ослепли по дороге. Поэты читали оды, священнослужители жестикулировали, бабушка хранила молчание. Он стал очень милым собеседником, его все любили, особенно женщины. Стоило одной из них встретить меня на улице, как она хватала его за руки и тащила к себе домой, в юрту, чтобы угостить, чем послал Бог. Подперев голову ногой, они умиленно следили за тем, как я жадно давился пищей. Потом, пока меценатка полоскала в ручье тарелки, он говорил о своих картинах, читал газели, целовал пахнущие кумысом и кумачом руки. Некоторые уводили его в постель, но чаще выставляли за дверь, одарив на пороге талонами для легального проезда на корабле пустыни. Иногда в темной подворотне возникали какие-то прозрачные фигуры. Он гладил их незамутненную поверхность и беззвучно шевелил губами. Или птица садилась к нему на плечо. Вскоре меня объявили национальным заповедником. Всякий прохожий мог плюнуть туда без зазрения совести. При встрече с внуком бабушка по-прежнему прикладывала палец к губам и таинственно улыбалась сквозь скалы. Свои творения я складывал в большие кипы, которые потом трепали пальцы гостей и лапки насекомых. Он отдавал предпочтение последним, ибо тарантулы и скарабеи внимательнее просматривали рисунки и не спрашивали у художника, что здесь изображено. Потеря чувства времени привела его к полной утрате контактов с современностью. Ему стало противно человеческое тепло, от которого за версту несло

свинарником. Входя в уютные жилища людей, попирая ковры, проваливаясь в мягкие диваны с бесчисленными подушками, я постоянно думало о навсегда утраченной простоте и чистоте радости пространства. Он завидовал бабушке, ее способности летать и видеть. И невозможно было объяснить никому всю уродливость этого вымышленного мира, его ужасающую скупость. Приходилось садиться в поезд для того, чтобы посмотреть на небо. Наконец, художник почти перестал произносить слова. О нем забыли даже дворники. Отец хотел сделать сына великим кочевником-чиновником, суровым повелителем бумаг, он грезил входящими и исходящими табунами, на которых атели и еще дымились клейма-резолуции продолжателя рода. Гости ударили в бубны, взвизгнули скрипки, полуобнаженные вязальные машины закружились в коричневом танце исполнения всех желаний живота. Бабушка курила трубку и молчала. Кочевники строились в каре, чтобы снова отправиться в никуда. Их медные лица были бесстрастны, а животы туго набиты бараниной, руки лоснились от жира, они прятали за пазуху мои рисунки, которые отец роздал сородичам в самом конце поминок. Бумаги в пустыне не больше, чем воды. По стеклам его очков, лежащих на могильном камне, ползли народы, царства, цивилизации. Я раскрыл глаза и увидел на месте канцелярского шкафа большую стеклянную дверь, сквозь которую было видно море. Разноцветные волны набегали друг на друга, образуя затейливые узоры. Они походили временами то на буквы, то на рисунки, то на какие-то неизвестные знаки. Вдруг он увидел, что волны сплели его рисунок! Он просуществовал всего мгновение и растворился в новых фигурах.

Ему стало душно, ночной сторож Воронин инстинктивно протянул руку к горлу и с удивлением обнаружил, что его больше нет.

КОСМОГОНИЯ В ДВУХ ЧАСТЯХ

I

Этой ночью Воронин вылепил свой лучший рисунок. Он взял воду и разлил ее по бумаге, и вспомнил Библию, и пролил тушь... Она потекла по сверкающему от влаги листу, прихотливо извиваясь в чудесном танце судьбы. И стоило перу лишь коснуться этого сверкающего мира, как неиз-

вестные доселе ни одному ботанику люди-растения вырвались из первозданного хаоса и навеки воплотились здесь, а потом выплыли рыбы с воздушными гетерами в компании подвыпивших пятен, и все стало прозрачным, как будто не черная тушь, а само пространство вылепило эти фигуры. Воронин неподвижно сидел, склоняясь над своим творением, и наблюдал течение времени, ибо впервые ему удалось нарисовать само время. Не линейное, не движущееся по кругу, а реальное, прозрачное, как вода, время. Оно было чистым, незамутненным человеческими страстями, поэтому сразу можно было увидеть все триаду: прошлое, будущее и переливающееся между ними настоящее. Этот рисунок был цельным космосом со своими только ему присущими законами. Здесь Воронин увидел и себя, рисующего уже нарисованный рисунок. Их было очень много, этих художников, подобно светящимся туманностям они переплывали друг в друга, испаряясь и возникая вновь. Эти колеблющиеся призрачные фигурки сами собой вписывались в мерцающий узор ковра вселенской ночи, уже зачинающей во мраке неведомого новые формы, имени которым не знал никто.

II

В канцелярском магазине он купил стирательную резинку. Она была белой, и он назвал ее квадратом Дао. Первым делом художник стер свое имя и даты на рисунках, а потом окна и двери. В комнате стояла абсолютная тишина, слышно было, как бьется сердце и растут волосы. Он открыл шкаф, достал банку с солеными огурцами и маленькую. Выпил залпом целый стакан. Приятное тепло разлилось по всему телу, и хмель мгновенно ударил в голову. Он решительно стер себе лицо. Взглянул в зеркало на бедного всадника без головы и стер все остальное. Остались только рисунки. Освобожденные от воли создателя, они радостно сплелись воедино, образовав новый фантастический мир.

Кошки-альпинисты карабкались на вершины гор, на облаках-гондолах плавали невозмутимые халатоносцы. Вместо планет в космосе кружились ботинки, начиненные человеческим теплом. Цветы разгуливали по пустынным улицам, проповедуя растительный образ жизни. Человек в тибетейке указывал дорогу всему сущему. Окна домов походили на бук-

вы, буквы на насекомых, и они ползали во всех направлениях, иногда слагаясь в невероятные фразы. Стулья возносились на небо...

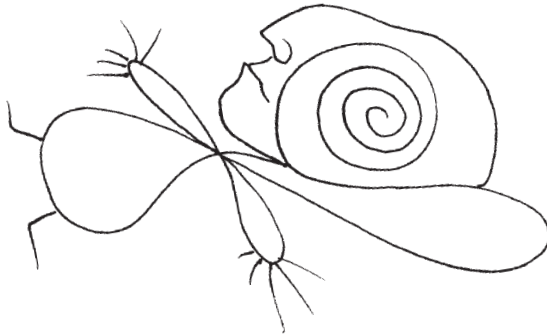
Бабушка осталась довольна прогулкой. Новорожденное пятно радостно улыбалось ей и как бы говорило, заходите, заходите, гостем не будете.

ОГОНЬ АГОНИИ

Вода все прибывала. Она подошла уже ко второму ряду скамеек и вот-вот должна была подступить к зданию. Ветер выл как-то по-бабьи жалобно и протяжно, в его черной пасти зеленели гланды фонарей, зябко мерцали лужи. Нога сторожа подвернулась, я заскользило по крутому склону берега. Земля была липкой и влажной. Это была настоящая мать сыра земля во всей ее грозной гинекологической красе. Набрал полные ботинки воды, до колен вымочил брюки. У дерева стоял покойный художник во французском пальто. Он предложил водки. Ее пришлось пить прямо из горлышка. На верхушке дерева сидела собака и пела Кадиш. Совсем согревшись, я подошел к его я. Оно лежало прямо на земле. Руки были раскинуты, согласно канону. Оно жадно глотало синими (бирюзовыми) губами воздух. Это конец, оптимистично сказал покойный художник и решительно вытащил этюдник из дупла дуба Петра I. Знаете, продолжал он, нетерпеливо вонзая в мягкую землю третью ногу прибора, самое интересное в агонии – цвет. Это разновидность заката, мягкая мистерия красок зимних сумерек. Поглядите на это мое лицо, как глубоко запали глаза, насколько резче обозначились скулы, природная бледно-розовая окраска щек уступает место так называемой смертельной бледности, которая затем перейдет в стадию восковой маски с последующими эффектами фиолетового и черного цветов. Самым потрясающим моментом агонии я бы назвал... Здесь его я испустило протяжный вопль и засучило ногами, оставляя на почве причудливые полосы, отдаленно напоминающие «макарроны» (разумеется гипертрофированные) на потолке правой галереи пещеры Альтамира. Через десять–пятнадцать минут бедняге крышка, сообщил компетентный в этих вопросах покойный художник. Он предложил выпить еще. Но

у меня нет денег, попытался интеллигентно отказаться сторож. Пустяки, юноша, неожиданно отозвалась собака с верхушки петровского дуба. Через мгновение она скрылась под водой. Но ведь магазины уже закрыты, недоуменно пробормотало я. Между тем маэстро заканчивал этуод. Осталось несколько последних штрихов. Из реки выскочила собака с бутылкой «Мартини» в зубах. Там больше ничего не было, учтиво извинилась она, отряхиваясь от воды. Я уже больше не дергалось, а только тяжело, со свистом (отдаленно напоминающим звук флейты) дышало, закатив глаза. Какие ослепительные белки, в очередной раз восхитился художник. Действительно, нарисованное лицо словно бы пылало. Это был настоящий пожар головы. Пляски смерти предпоследних мыслей были изумительны. Что-то неуловимо вдруг начало меняться вокруг. Статичность пространства исчезала, все постепенно приходило в движение. Стала ощутима пульсация единой поверхности мира, того пространства без границ и линий, в котором слова бессмысленны, а смыслы невозможны. Это ощущение было настолько огромным и захватывающим, что кроме него ничего больше не осталось. Потом не осталось и ничего.

А на берегу Малой Невки тихо догорала небольшая картинка. Один единственный уцелевший глаз портрета, казалось пристально всматривался в ночное небо. Вода уже спала. Ветер стих. Человеческих голосов не было слышно.



РЫСЬ-СКАЗЫ

1. Голоса из России
2. Фантастическая дребедень
3. Терновые песни полейян (триппертих)
4. Новые кальсоны риторики
5. № 175

ГОЛОСА ИЗ РОССИИ

Мне вот не нравятся почему-то Польш Валери и Набоков. Один всю жизнь безуспешно пытался стать автоматом, а другой не расставался с резиновой ванной. Лучше бы уж с куклой! Они, конечно, люди полугениальные, но... Насколько их симпатичнее Жуань Цзы или Ли Бо. Строгая регламентация конфуцианства породила удивительно свободных людей. В перспективе популяция сторожей, может быть, и создаст подобные типы, если ее развитие не будет прервано искусственными средствами. Вообще же пора создавать заповедники для охраны не только животных. Насколько обеднеет человеческая фауна, когда с пьянством будет покончено! Почему бы не оставить несколько тысяч пьяниц, для которых это занятие стало бы семейной традицией. Развратники, проститутки, фальшивомонетчики, террористы, садисты, сионисты, милиционеры... Неужели все они обречены на вымирание? Не пора ли социологам завести человеческую Красную книгу? Где капитан Копейкин, Дерсу Узала и семеро козлят? Через плечо смотрит сыворотка-воровка и огаревское наследство в прихожей наложило. Надо что-то делать, и ботинки каждый день чистить ваксой феррумдвао, а то соседи подозрительно смотрят под ноги-варяги. В греки! Краги в руки и ура! Беловежская губа не дура. Фамильное серебро – гривенник – конфисковали в темном подъезде и дали сдачи по тонкой шее. Что ассоциация? Керосиновая лампа Алена Роб Роя. Выкусила?! Хокусай. Кусачки. Вы не понимаете, а кто может понять собственный мозг? По крайней мере, я осезаю свое существование посредством пишущей машинки. Декарт любил тухлые яйца, Бретон ел тараканов, а я – что дадут. Однако замедлим темп, предадимся чистой радости созерцания. Изберем в качестве объекта для медитации полипы в носу любимой или пачку беломора на выданье...

В грязной теплой испанской луже валяется Кармен и ее кишки. Неподалеку Гераклит отдает концы в навозной куче, которая вся течет. Диоген самоуслаждается в бочке при свете чадающего фонаря. Бутафория трагического сознания: я – не-я и прочие бесы помельче и потише (пол и характер). Еще кто-то, как ни странно, позволяет себе умереть. Рас-

пускается сфинктер. Подробности письмом. И вдруг все отпало. Холодно будет душе вылезать из теплого тела, сказал когда-то наблюдательный энтомолог. Звезды рядом, крыши подальше. Золотистые вспышки крыльев стрекоз. Мерное молчание космоса. Тысячи нитей переплетаются снова и снова. Узелки.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДРЕБЕДЕНЬ

Тогда Система и grit той пацанке-цивилизации, дуй отсюда, Маруся, пока ума не наберешься. Это, грипп, только мы можем через белые дырки куда хошь кататься, чтобы мегапространство посмотреть и себя показать в мире животных. Мотри, гриб, Маруська, коли ума не наберешься, то к сингулярной точке в лапы попадешь, а тогда – тебе хана! Та на систему матом и лазером действовать, мы, гриф, мужики и бабы ничего себе, и у нас в буфете будут цитрусы цвести. Система возмущается, Маруся, будьте сознательней, если до сжатия только ваньку по перине катать, ваше дело швах! Учитесь управлять пространством и временем, и тады станем пиво в одном ларьке пить с прочими разумами и божествами природы. А Маруся отравилась термодинамикой с квантами, живот у нее пухнуть начал на пятом витке, и черная дыра мхом заросла – вселенской лишай. Не лишайте меня последнего шанкра, заплакала цивилизация – Птугпу, дайте возможность реабилитироваться и встать со всеми тварями мироздания на одну ватерлинию. Я тоже хочу быть бессмертницей во вселенском масштабе, рыдало беременное безвременьем пространство, размазывая по загрязненной харе жирные черные полосы нефти. Система стала резонно на эту просьбу возражать, как же мы, григ, с тобой контактировать будем, туды-елды, когда у нас даже постоянной формы нет, ни фига у нас нет, даже колбасы, мы, грин, водородом питаемся... Маруська аж вспотела от таких откровений и спросила, поправляя лифчик на трепещущей от любопытства горной гряде, ну а как у вас это дело промеж собой происходит? Фигли-мигли, отчаянно завыли аш-фаги и ушли в подпространство оскорбленные

в лучших чувствах вселенского братства. Блядство, сказала побледневшая Маруся, гневно насупив соболю бровки, нет, мне чужого счастья не надобно, я горда своим смертным уделом и шестипудовым телом. Кликнула Маруся очередного ваньку и стала с ним антимиры по перине катать. По персям текло, а куда надо не попало.

ТЕРНОВЫЕ ПЕСНИ ПОЛЕСЯН

(ТРИППЕРТИХ)

I

По селу ползла сколопендра в выходном костюме. На одном боку ее белел город Кипеж, на другом – пустыня Гоби. Полесяне ласково вышли из траншеи и поднесли ей хлеб-сопли, одна бабешка в коклюше исполнила ритуальный противозачаточный танец. На флаге-фиге тихие мухи умирали от любви к гуталину. Это было суровое время, когда плешь собрала воедино все силы мануфактуры и ударила ананасом по бессмертности. Сумевшие остаться в живых родители и йети пускали головастиков в своих мирных целях. Но сколопендре было мало одного потеряннго поколения, она позвала дона Педро и приказала ему сжечь носы и фуражки у всех михрюток. Полесяне разыгрывали в какаду счастливое детство, они водили хороводы и пели.

*водопровод всех заберет
водопровод жабу спасет
глист не пройдет!
глист не пройдет!*

Добровольцы хватали бабочек в железных подвязках и требовали предъявить круглую печать. Осмелившиеся разрешить задачу квадратуры круга умирали в тисках нужды и беславия, осыпая на землю пудру с морщинистых лон и ланит. Но одна мудрая гусеница спасла огород посредством утилизации ионов. Дело было поставлено на широкую ногу мопассановской пышки. Корпуса ковров и рюмки шлакоблоков играли на солнце дощатыми улыбками ногово мра, как девушко в голубых шароварах и розовой шайке.

Кто там просит новый абзац? Пожалуйста, я не изверг какой-нибудь вроде Панферова. Просто с утра сегодня рысь-сказы сочиняю, во дворе дождь, скуцно и грусцно и некому графику свою продать. Так что, девушко вбежало в очко. Там она обрела семейное счастье с двумя неизвестными. А между тем наша уважаемая сколопендра повесила дона Педро за недостатком улиток. После этого случилось три события: во-первых, родился план этой книги, во-вторых, утюги не пошли вслед за языком и подорожали, в-третьих, полесяне выучили новую басню:

*водопровод скоро придет
водопровод сыро течет
гляди в оба
рта не разевай
глистов на проходной
в раскрытом виде предъявляй*

Пока глисты в страшных мучениях умирали на ободах телеги истории, село росло как дрожжи, но вожжей и вождей сколопендра из рук не выпускала, предпочитая держать их между ног вместо мавзолея. Помню одно воскресное погожее утро, собрание пайщиков резеды. Вышел дед Чурило и говорит, показывая весьма представительный документ, не хочу учиться, а хочу жениться, жениться, жениться. Сразу исчезли из продажи кальсоны. В лесу появились бандитоподосиновики. Одна старуха выиграла патефон, так ее убили в ту среду на берегу Яика. Сколопендра приказала, догоняй, догоняй! И все побежали наперегонки. Бежали, бежали, в пустыню Гобои прибежали, а посередине один осиновый кол торчит. Ни черта больше нет. Тут-то нас сколопендро, как корово, языком и слизало.

От того времени только один припев остался:

*водопровод, водопровод
скоро придет
всех приберет*

II

В газах плавало братство толстой морды прохожих санкюлотов. Было моторно-муторно. Я встал на кеолулали и допер да. Там было нечто невообразимое. Ангел, окруженный тысячами продов, которые возбужденно махали в воздухе банками из-под нитрокраски. Одна белокурая продка совсем потеряло вство. Другие были не х. Наконец показались огни большой Глафиры. Ее бледно-розовый язык одиноко покачивался в темной полости. Фас был вполне пригоден. Факс всплакнула для влаги, но потом все же вышла наружу. Она капризно отстранила свои васильковые. Но я. И потом, когда все было кончено, чебуречная еще долго стонала под сладостные трели флейты прямой кишки.

А я уже снова шел на тарань. Фак тихо перевернулась и легла на живот. В носоколготке парили бумажные змеи и прочие оригиналы. Но стоит ли заострять внимание гипоталамуса на этих низменных сферах социальной самообороны. Пусть идет дождь, пусть ветер дует нам в зад, пела самоотверженная Глафира из эфира, но мы дойдем до тебя, Слизняк. О Слизняк, такой жирный и такой прозрачный, ты сын твоего народа, а народ нельзя посадить на колени, если он стоит на карачках. Мы встали хором и пошли с развернутыми змеенами. Роса пролегла на глафирином бобке. Судорожно всхлипнув плечиками в шкафу, побежал Глаш. Там еге встретили вежливые люди со спокойными фиолетовыми лицами, от них приятно попахивало декабрием. Но не тут-то было, родимчик. В примерочной стояло два стула, на которых, склонив над тазом белокурую точеную головку, изгибалась в очистительных конвульсиях алкогольного ритуала продка Люда. Безрукий директор было сунулся к ней, но попав ампутированной ногой в таз с блевотиной, изменил планы, помрачнел и пошел к бюстгалтеру пить новый год в ночь на первое мая. Оттуда он вышел с просветленным еще незаправленным в брюки лицом. Немой сторож усиленно моргал близорукими лестницами глаз и нервно дергал кодаком. Он сделал почти пятьдесят снимков флоры и фауны мустьерской эпохи. Между тем пролегормоны обтекали здание главного швабра. На том и уже на этом берегу реки горели желтые огни. Но это был еще не конец.

III

ДТ подошел к письменному столу и плюнул в пишущую машинку. Каретка благодарно задвигалась. Она давно мечтала о такой смазке-сказке. ДТ впрыгнул в нее на ходу, потрясенный коварством Софии. Старец в ветхом кашпо на секунду вытащил голову из фолианта и раздраженно буркнул в моей системе это не предусмотрено. Вот и хорошо, подумал ДТ, опустошая карман философа от материальных излишков. Они поехали дальше. Там был черный кот. Во дворе и дворце тоже никого не было. В подворотне стоял шезлонг с подозрительными пятнами на сиденье. От нечего делать ДТ бросил пустой бумажник в сгущающиеся сумерки идолов. Тотчас завывала сирена. Оживились пригородные пулеметы и авиация. ДТ устало сел в шезлонг. Скоро кончится все это, с радостью подумал он, вытаскивая спасительный инструмент из нагрудного кармана. Это была не флейта, не дудка и не свисток. Это была обыкновенная бритва.

Одним мановением руки раскупорил арт-терию и стал ждать конца концов. Вскоре два бородатых студента усадили окровавленный труд всей его жизни в коляску мотоцикла. Санитары леса выбросили ДТ на окраине города, неподалеку от платяного шкафа, на вершине которого когда-то стояла пишущая машинка. ДТ промочил ноги, переходя через ручей. Вскоре он встретил ТД и даже ТТ. Им стало весело, воспоминаниям не было отца. Что касается сына и другого товарища, то они тоже куда-то запропастились. Велено было подождать еще. А тем гриффитам, кто не проявлял толерантность, недвусмысленно давали понять, что их пребывание может оказаться неуместным в доме терпимости, и тогда придется всех катапультировать обратно. Вечность шла за вечностью, а они все сидели под раскидистой клюквой и чего-то ждали, от портянок былого смердело уже невыносимо, будущее тоже представлялось туманным. ТД и ТТ не выдержали первыми и попросились обратно на фронт. ДТ долго крепился духом, откладывая разрешение своей участи на таинственное потом. От нечего делать он начал писать рысь-сказы. К нам оттуда попали только два. Дальнейшая судьба их создателя неизвестна. Здесь и там его больше не видел никто.

НОВЫЕ КАЛЬСОНЫ РИТОРИКИ

Этот рассказ пусть будет совсем диким. Рысь-сказ.

Монтер был осетр. Во рту гантели–галактики, а под хвостом Голсуорси. Но это еще не все. В жабрах – Брак. Будем агонизировать звуками смысла. Фо. Не. Ма.

Пузырьки слюнины летят по равнине. Цыбиков на чайной тропе. Не путать с трупом сюжета. Да, а замок сгорел в XV нижнем веке. Приезжали пожарные птицы с Охты, а там ничего нет. Пот. Ала. Алла. Алло. Их под судно положили до Страшного Суда.

*раз два три четыре
гро гро гроб
и она вспотела
словно носорог
и сняла носок
а в моче песок*

Такая особь сексуальная из Могилева. Села на велик и влипла в лапшу протоплазмы. Ты на уши не вешай мирабо без нужды. И еще короче.

*раз два
три четыре
голова горит
в сортире
авторитет
автритет
автртт
тртт-ы*

Рассказ-папуас. Без набедренной повязки ходит мальчик с пальчик в каске. У него в руках пупомет, на ногах кеды – символ нашей победы. Стихи: я люблю Жень-шень под голенкой гладить

потом они обрили но кто бы мог
 подумать что куня прима вафль к
 I–а–кекс оп–арт
 смев ольтб юыйиь
 цехмиструк самосюк
 свыфцй овищ домашнего копчения
 на службе доброго настроения
 петр I таврически
 и летаргически и
 свежепросольные
 малохольные
 малолитражные
 кочевые пузыри
 современности

Ты, дикий рысь-сказ, идешь на смену белья. Ванк приыфу
 итм човя продолговатый

№ 175

*Смысл есть первая и самая
 меньшая степень познания,
 как первое впечатление души,
 действием чувств производимое*

Д.И. Фонвизин.

Опыт российского Сословника.

До чего же страшно чисть рысь-сказы, кричал некто Во-
 сгне. Потом поцеловал певицу в зоб и открыл консервы. В
 0,5 дома жили краски нового создания. Дворник, одетый как
 все балерины в халат и гайку, немного походил на челядь за
 помидорами. Был на последнем издыхании. Я сказал бале-
 рине в фантике, когда отелимся, повидло? Какое-то быдло
 читало вслух биточки. Я дошел до. Свернул в сторону за-
 пятой, оседлал эти синтаксические единицы и порвал пути
 земной орфографии...

Волоокая Велехног ввалилось в избу покойного тов. Никан-
 дрова. На стенах было много народу и белки тоже не проЧь.
 Голос некто снова встрепенулся на дне, что ты делаешь, згрой
 дВЕРЬ, там – уранаган! Какой эмунациональный голос, воеет
 портянок о ЖВЫ. Я выбрал, господа человекоеды, мозг дол-
 жен быть разоружен. Не надо цепляться за жизнь, Гонибал, это

неприлично. Мы, корсары, плывемш. Дайте слову погулять на воле, поплавать и попрыгать. Чюрокуц.

Кунявый апахарь рогатал поперечь бинд, нефрон воканул грудопели ф чвиху апростуды гль. Из небытия выпорхнула бабушка Вера, Какой милый простокваш слогов и одуванчики пауз, виртуозеро взоров нескромных парных драгоценностей, утрата смыслагль... Мы поцеловали девятый вал воображения. Вот такое теперь у меня заумьцумэнде. Пишу сам не знаю-ю-ю-ю-ю зайн 3%.

Некто голос отпрянул от стенки. Отчего дрожит кал ленки? От резонанса? ЛУАРАК! Его сознание трещало по всем швам нътов. Цирк лилипутов. Некуда деться. Ни черепной крышки, ни рожи не было видно поблизости. Пустое пространство мыльного пузыря воображения. Земля уходила из-под ног, и все земное выходило наружу по-новому бт., др. Ученые востокофаги глядели глазами полными отваги из толченых в ступе рам на О.

Бабушка Вера сказала: «Мбрю!»

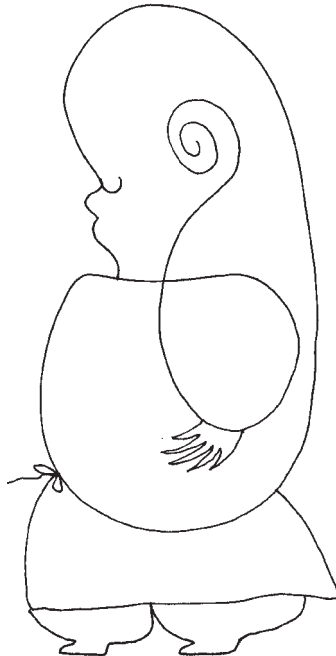
1978–1979

СПБ

09.05.93.

Akademie Schloss

Solitude



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ЦАГЕНДОН
(отрывки из дневника)

Мухи сидели друг на друге, выполняя генетическую программу. Убил их газетой, свернутой в трубку. Вышел на балкон. Опять скрипят качели Сологуба. Кругом только тексты. И ни черта больше!

В прихожей повесил плакат «Сволочи, читайте Салтыкова-Щедрина!» Жарил мясо и думал о создании теории литературного поля. Красный ободранный диван похож на Сутинскую тушу. Анютины глазки в стакане из-под маминых зубов. От женщины с сосисками пахло вином. Она шептала: «Милый, милый...». Нам было тесно на красном диванчике. Посреди ночи она сказала: «Как много книг!» Потом спросила: «И все разные?»

Бабушка Вера сравнивала паспорт с египетской и тибетской литературой загробных странствий. Она любила показывать обыденные вещи в мифологической перспективе. Рушилось время, и шаманский бубен принимал вид долгоиграющей пластинки. Культура мышления, учила бабушка, определяется не столько образовательным цензом, сколько волевыми импульсами. Знание само по себе мертво. А поэзия – всегда авантюра.

Еще незадолго до смерти она мне открыла, что у эмоций есть своя математика. Такие же непреложные законы. Таблица умножения. Таблица эмоций Брадиса. Ничего оригинального. Но высшие существа любят нашими чувствами, как мы любимся северным сиянием, грозой, закатом.

Мы – неосознающие себя акварели. Живые краски космоса.

Бежать на свидание, мять чью-то потную ладонь, задыхаясь, стягивать колготки и биться в поступательном ритме: раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Эти бесконечные вальсы вокруг продолжения рода. Я помню эту диарею любви! Или сон, когда видишь галюн, огромный, как собор св.Петра.

Сижу на балконе тела и шепчу: «Господи...». А что дальше сказать, не знаю.

Худо нам.

Все лето часто бегал в церковь, а потом звонил ей по телефону. Дома никого не было. По возвращении пытался читать. К телефону никто не подходил.

Хочу написать небольшую даосскую повесть о путешествии внутри текста. Ее герой, тибетский отшельник Цагендон отправляется на джонке в плавание по Священной книге. Он плывет между строк. Они, подобно белым хребтам, возвышаются вокруг Белой реки. Горы суть буквы и иероглифы всех времен и народов. Цагендон назвал их узелками смыслов после того, как отведал дальневосточных грибов.

Собственно, это я вернулся к старой идее романа «Приключения чтеца». Это должен был быть метароман о мировой литературе и бабушке Вере. Симбиоз структурного анализа с галлюцинацией, поэзии со статистикой, причудливый узор ереси и ортодоксии.

Конечно, я никогда его не напишу. Но эта идея мне дорога, ибо такой роман обязательно будет написан. Что Кастанеда отчасти и сделал.

Плод созрел, осталось только сесть под Мировое дерево и подставить макушку.

Бабушка Вера завещала мне воздушный замок на песке. Он такой огромный. И никаких коммунальных платежей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ПЯТЬ ПОСТУЛАТОВ БАБУШКИ ВЕРЫ

I

Религии
приходят
и уходят.
Вера остается.

II

Вера
за гранью
добра и зла.
Она – целокупна.

III

Верить
также невозможно,
как и не верить.
И то, и другое – вера

IV

Совершённая вера
шаровидна, как молния.
Истинно верующий
перестает верить.
Он распускается
в Боге.

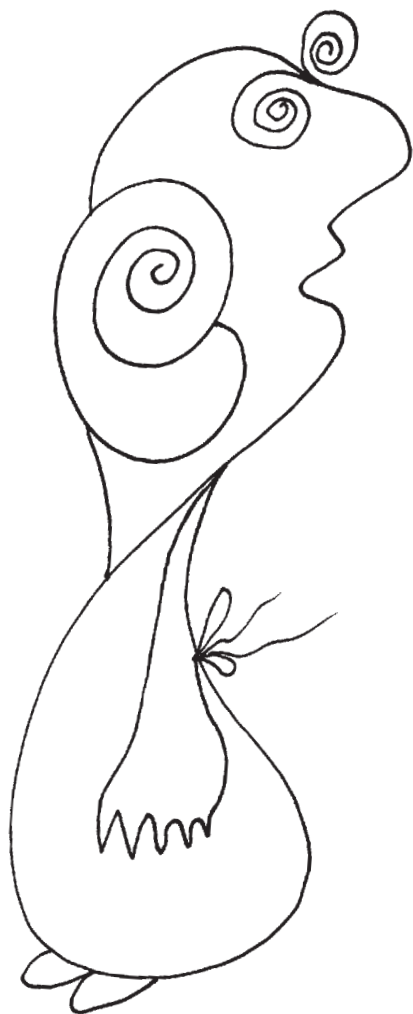
V

Неверующий
только
Бог.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ментальность
облака
балет
все
потому
что
Бог
поэт
живи в творящемся стихе
кайфуй вися на волоске
о-о-о-й-е!
2004 г.





АВТОБИО

*Да, отдать на посмешище ненавистное
существо, которое называется моим «я», –
вот что может меня позабавить.*

Стендаль. «Красное и черное».

1. Потерянный рай
2. Родители
3. Детство
4. Школа
5. Институт
6. Малая Садовая
7. Чтение и сочинение
8. «Вечный сторож Аксельрод»
9. Женитьба. Метаморфозы
10. Исаакиевская, 5-15
11. Замок
12. Черная речка
13. Театр «Двоеборье»
14. Романы с журналами
15. Кода
16. Всё
17. P.S.



ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

Самое яркое воспоминание – винный отдел гастронома. Подсвеченные бутылки всех цветов радуги, и не только (зеленый – «Шартрез», коричневый – ликер «Кофейный», красная «Рябина на коньяке», желтая водка «Лимонная» и т.д.) создавали ощущение праздника, какой-то нездешней радости, Эдема. Тем более, что рядом в конических сосудах с краниками продавались соки, их можно было пить, созерцая это райское великолепие. Граненый стакан (перл Малевича или Мухиной?) с подсоленным томатным (поллитровая банка с солью и алюминиевой чайной ложкой стояла на мраморном прилавке) или сладчайшим, как «Тысяча и одна ночь», персиковым.

Помню Филипповскую булочную (сейчас ее, увы, больше нет) на углу Карповского переулка, где я прожил до пубертационного периода, и Кировского (ныне Каменноостровского) проспекта. Вся мою жизнь переименовывают улицы, может быть, поэтому я переименовывал себя. Там стояли выпеченные из теста домики, зверушки и огромные коробки кондитерских наборов. Помню «Малахитовую шкатулку» темнозеленую. Я просил, почти как Мармеладов, зная, что не дадут, конфетку с ликером или коньяком. Еще были такие, которые назывались «Цитрон». Я обгрызал шоколадную оболочку и наслаждался отдельно салатovým параллелепипедом начинки.

А гигантские инсталляции из крабовых консервов, демонстрации (словечко, придуманное в эпоху «Транспонанса») с шариками, раскидайчиками, знаменами, свистульками и громкоговорителями. Детская поликлиника, посещение которой начиналось с бокса (выгороженная комнатка с стеклянными наполовину стенами), где засовывали в род деревянную палочку и заставляли говорить «а – а – а». С этого «А» и начинается моя настоящая фамилия: Аксельрод. Родился я ночью, 30 сентября 1950 года, в 2 часа 30 минут. Рассвета (исторического) так и не дождался. Зато были миражи.

РОДИТЕЛИ

Мой отец, проработавший всю жизнь в торговле, никогда нигде ничего не украл. Он был белой вороной в той меркантильной среде. Его головной болью (Аксельрод Михаил Львович, 27.12.1909 – 05.08.1987) было выполнение плана. «Миша, ты ду-

май о своем плане», – подшучивали пройдошливые коллеги. Во время войны отец вступил в партию. И всегда защищал социализм: «Идея-то хорошая!» В эпоху перестройки разорвал партийный билет и выбросил в помойное ведро, никому ничего не сказав. Мать открыла это обстоятельство, вынося мусор.

Они познакомились, когда отец после ранения в голову (учили говорить, надевая электрический хомут, а до этого на него пришла похоронка) вернулся в Ленинград. Немецкое железо осталось навсегда. Будучи маленьким, я, залезая в родительскую постель, любил нащупывать у отца выступающие осколки.

В то время Илья Львович, родной его брат, был женат вторым браком на двоюродной сестре моей матери, Зое Николаевне. Однажды на какой-то вечеринке, когда мои будущие родители танцевали, Илья Львович (а может быть, Аркадий Львович, другой брат) сказал: «Миша, зачем искать далеко, когда есть так близко». И они поженились.

Мама (Аксельрод Галина Владимировна, в девичестве Гагарина) родилась 22 июня 1923 года. В день начала войны ей исполнилось восемнадцать. Вместе с моей бабушкой Прасковьей Петровной и четырьмя сестрами уехали в эвакуацию. Кировская область. Там едва не умерли с голоду. Побирались. Дедушка Владимир Павлович Гагарин воевал на Ленинградском фронте, умер в госпитале. Родители отца были убиты немцами (Сурож, Белоруссия).

ДЕТСТВО

Оно было, наверное, счастливым. Меня любили. Отец радовался: «Сын!» Когда я родился, сестре уже было пять. Мы жили вчетвером в маленькой комнате (бывшем кабинете хозяина квартиры) в коммуналке. В ней было два туалета и неработающая ванна. Печное отопление. Сараи во дворе. Медная заслонка. Белые изразцы. Любил смотреть на огонь. Скоро поняли, что я плохо вижу. Высокая миопия. С раннего детства стал носить очки. Я был тогда кудрявым, белокурым и голубоглазым. Почему-то мало ел (дистрофия) и производил впечатление интеллигентного ребенка. Гулять ходили в Сад Дзержинского (много лет спустя работал там сторожем на Водной станции; есть фотография, где я крошечный, стою на берегу Малой Невки с мамой на фоне дебаркадера, на котором потом проспал много ночей). Еще ходили на Острова. Дуб Петра Первого был жив.

ШКОЛА

Когда пришла пора учиться, эскулапы посоветовали родителям отдать меня в школу слабовидящих детей. В классах было меньше народу, и учились не восемь лет, а девять. Они так и поступили. И я стал ездить с бабушкой на 1-м троллейбусе с Петроградской на Невский. Школа располагалась на Фонтанке, где библиотека им. Маяковского, во дворе. Там одно время был Британский Совет.

Бабушка тоже плохо видела, работала в артели инвалидов, плела шнуры для парашютов. Выйдя на пенсию, стала часто закладывать с соседками (до сих пор помню имя одной – Олимпиада Богдановна), и гувернерство стало для нее спасением, неудобно было придти за Боренькой в школу навеселе.

Какая была прекрасная (княжеская?) библиотека. Там у нас проходили уроки пения (см. цикл «Сольфеджио» в книге «Рассказы о бабушке»). Рояль, огромные книжные шкафы, а над ними еще антресоли со скелетами (учебные пособия). Туда вела винтовая лестница. Каково было мое потрясение, когда спустя почти полвека я снова оказался там, на вечере Тамары Буковской и Валерия Мишина, и подарил библиотеке книгу «Записки неохотника», где я вспоминаю и о своем начальном образовании.

Возможно, отчасти поэтому, когда одна из тетушек поведала мне (недавно!), что дедушка был аристократ, вынужденный скрывать свое знатное происхождение по известным причинам, я воспринял этот апокриф как должное. Всегда казалось, что когда-то жил в замке. Не удивительно, что в этой жизни мне снова удалось пожить в нем: полгода, в 1993 году, в Германии.

Мы сочиняем самих себя так же, как и природа. Сочиняем творчество. Твори, твори!

В школе пристрастился к чтению, и это стало надолго основным элементом моего существования.

ИНСТИТУТ

После окончания школы слабовидящих я один год, не работая, учился в вечерней школе. Три раза в неделю! Читал запоем все, что мог раздобыть в районной библиотеке. (К этому времени мы уже переехали из коммуналки в хрущевку около проспекта Смирнова, ныне Ланское шоссе, с двумя смежными комнатами. Когда пришли посмотреть квартиру, я, как был в пальто, ботинках и шап-

ке, улегся в ванную, чтобы проверить, помещаюсь ли я в ней во весь рост. Мне было тринадцать лет.) Потом пришлось пойти на работу. Трудовой стаж для института. Одновременно экстерном (сдал 64, тогда еще об «Ицзин» не ведал, зачета и кучу экзаменов) закончил заочную школу. Работать мне не хотелось никогда, ибо всегда было чем заняться, и я не без маленькой протекции отца поступил на дневное в институт.

«Экономики mouse», как напишет обо мне в другом тысячелетии поэт Александр Горнон. «Да, все мы с учебы, сучобы такие». На экзамене по географии достался вопрос «Болота СССР». Пять лет я проваландался в этом болоте, но главным в те годы стала для меня не учеба в институте, а другое, куда более фундаментальное образование, которое я получил на самой короткой улице города.

МАЛАЯ САДОВАЯ

Туда меня привел, как уже неоднократно приходилось писать, мой двоюродный по отцу и троюродный по матери брат Коля. Он родился в год Победы 18 ноября, а через два дня родилась моя сестра. Как мы потом шутили, наши родители хорошо отметили 23 февраля 1944 года. Отношения между семьями были дружеские, по праздникам (7 ноября, 1 мая) мы часто ходили к ним в гости со своего Карповского на Ропшинскую. Там было для меня одно из чудес света – отдельная квартира. Стоило появиться в этом чуде (черная, крутая лестница, четвертый этаж без лифта), как я тут же начинал допытываться, поедем ли мы обратно на такси, и если вдруг на стоянке попался ЗИМ, счастьем не было предела.

Если я с детства был полуслепцом и тяготел, так сказать, к Гомеру, то у брата был полиомиелит, и он хромал на одну ногу с Байроном. После школы Коля закончил фотоучилище, вместе с будущим асом андеграунда Борисом Кудряковым, и работал в фотографии. Бегал в джаз-клуб ДК им. Ленсовета, молодежные кафе вроде «Ровесника», – как бы сказали теперь, тусовался. Знакомый поведал ему про Малую Садовую. Коля стал регулярно пить четверной в «Кулинарии», познакомился с кучей народа, стал писать абсурдистские тексты под псевдонимом А.Ник и стал хеленуктом. Неудивительно, что в 1967 году я оказался там же. (Спустя несколько лет А. Нику говорили в районном КГБ: «Ну что брата за собой таскаешь, ему институт заканчивать надо».)

В краткой передаче первое ощущение от М.С. выглядит так: я обалдел. Из мещанской юдоли моей скромной семьи вдруг вырвался в другой мир, перпендикулярный существу. Это стало откровением.

Как персонажи «Легенд и мифов Древней Греции» предстали предо мной Константин Кузьминский, Виктор Кривулин, Петр Чейгин, Евгений Вензель, Борис Куприянов, Леон Богданов, Владимир Эрль, и т.д., и т.д., и т.д.

Несть им числа. Боги и богини самиздата. Юные олимпийцы с одним мятым рублем в кармане.

Начались портвейные бдения. В садике, напротив Дома Радио, летом, в парадняке зимой. Мы пили сухое или крепкое (водка тогда была не в чести) и предавались бесконечным беседам. Сократ незримо был с нами. Из этих-то бесед, данных на прочтение редких или запрещенных книг в моем воспаленном юностью и алкоголем мозгу постепенно начали складываться контуры прекрасного нового перпендикулярного мира.

Главным его качеством была свобода. Всякое мнение имело право на существование. Православные марксисты, пьющие йоги, ничего не пишущие писатели, самостийные гении оригинальностью высказываний, парадоксальностью личности, специфичностью эрудиции и нестандартностью поведения придали моему развитию такое ускорение, что вскоре я ни с того ни с сего начал рисовать, а потом, о Боже, писать стихи. Кузьминский, услышав, что на М.С. появился третий пишущий Аксельрод (кроме моего брата был еще прозаик Дмитрий) пригрозил покончить с собой, и я во имя спасения русской литературы взял себе псевдоним Ванталов – из «Маугли».

Невозможно кратко описать те бурные застойные годы моей молодости. Страна погружалась в анабиоз (если тогда для большинства хорошим тоном было помалкивать в тряпочку, то теперь правила этикета навязывают массам безудержный стеб), а у нас жизнь была ключом. Время было спрессовано необычайно. За неделю можно было пережить то, чего иному хватило бы на годы. Мы как бы находились в автономном плавании внутри общего времени. При этом для желтых субмарин было важно не терять бдительности и успевать уклоняться от унылых торпед эпохи крепчающего маразма. Это удавалось далеко не всем. Кто-то

выпрыгивал из окна, оставив на подоконнике очки, кто-то по-падал в дурку, кого-то забирали в армию или сажали в тюрьму. Наше время летело быстрее жизни.

В этом стремительном полете информация перерабатывалась со скоростью еще не виданного никем супер-компьютера. Литература художественная, философская, научная поглощалась с такой же жадностью, как и вино.

А ведь были еще и дамы. Господи, какие дамы были тогда! Не пучеглазые Барби, а прелестные, живые, одухотворенные сильфиды. Вместе с филипповской булочной эта популяция исчезла навсегда.

Одно из первых самиздатских впечатлений – «Приглашение на казнь» Набокова. Синий шрифт, твердый переплет (гектограф или ротатор?). По-моему, эту инкунабулу продавал Гера Григорьев. Если Лесков пронзил Русь, то Гера пронзил Невский. Он знал всех. От потенциального нобелевского лауреата до забудыги-фарцовщика, карманного воришки, стукача-наркомана. Своего жилья у него не было, как и паспорта. Выручала обширность связей. Гера был бомжом высшей квалификации. Власть предержавшим он аттестовал себя как поэта-песенника. Писал пьесы в стихах из жизни древней Руси. Носил их в БДТ. И хвастался, сидя на скамейке в садике, как Дина Морицовна Шварц отшивала заглядывающих к ней в кабинет: «Извините, у меня автор».

Между прочим, распечатка протоколов суда над Бродским каким-то образом попала в нашу семью еще задолго до М.С., и я, вглядываясь в слепую машинопись, вдруг различал в ее сумраке четыре таинственных знака: ПОЭТ.

Безудержное чтение шло вперемешку: Авторханов, Шмаков, Оруэлл, Блаватская, Бренчанинов, Вагинов, Джойс (в «Интернациональной литературе»), обэриуты...

Последние были читаны на автостоянке, в будке, у Эрля. До сих пор помню эти пропахшие «Беломором» листки. Как это было завораживающе тогда! «Елизавета Бам», «Лапа», «Минин и Пожарский», «Потец».

А Беккет, переведенный Молотом. Ален Роб Грийе. Подборка стихов Елены Шварц в журнале «37», которые я терпеливо перепечатывал одним пальцем по причине их гениальности.

Потом пошли квартирные выставки. Кустарный, Психфак и, наконец, ДК Газа.

«Кинематограф» на отшибе Васильевского острова.

Список бесконечен.

Чем больше сжимало нас государство, тем выше становилась плотность, удельный вес слова. При застое была неплохая акустика. Человек еще звучал, если не гордо (ницшеанская патетика скисла), то хотя бы как раковина. Твой выбор, твои действия были значительны для узкого круга лиц самой короткой улицы в Петербурге.

ЧТЕНИЕ И СОЧИНЕНИЕ

Мое запойное чтение (если бы пил так же, как и читал, то эти и многие другие строки не обременили бы ноосферу) требовало какого-то выхода.

Поскольку тогда многие интересные книги давались на краткое время, то я стал делать выписки, для чего покупал записные книжки без алфавита в четверть машинописного листа. Их набралось великое множество.

Я читал собраниями сочинений, все подряд от вступительной статьи до комментариев. Стихи учил наизусть. И рисовал. Сначала шариковой ручкой, потом цветными карандашами и, наконец, тушью.

О, блаженство размыва!

Первым моим сочиненным продуктом стала машинописная книжечка стихов «Болотное серебро» (1976-1978 гг. В 1993 году она частично вошла в изданную Виктором Немтиновым мою книгу стихов). В том тысячелетии я приятельствовал с Владимиром Эрлем, часто консультировался с ним. Когда же мои упражнения были переплетены (а у меня уже была машинка «Колибри»), и в руках затрепетала «моя первая книжка», взрыв младенческого восторга, наверное, можно было наблюдать из других галактик.

Вообще, человек скорее эмоциональное существо, чем мыслящее. Откуда приходят мысли, неизвестно, а эмоции мы вырабатываем сами, как пчелы мед. Может быть, мысли только внешние раздражители – провокаторы, необходимые для выработки чувств. Вот, чем не теория неосентиментализма.

Но одновременно со стихами и рисунками я начал пытаться писать прозу. И тут-то мне и пришло в голову (откуда-то оттуда?!) воспользоваться для нее своими цитатами.

Уже тогда мне претил сюжет. Китайцы (Даодецзин) вкупе с индийцами (двухтомник «Индийская философия» Сарвепали Радхакришнана) основательно расшатали школьные представления о реальности. «Реальность» затрещала по всем швам. Окончательно я разделался с ней под влиянием индейцев в двухтысячных, одолев четыре тома Карлоса Кастанеды. Слава Богу, то же не случилось с башкой. Наверное, помогло то, что я был многостаночником. Мог плавно перетекать из стихов в прозу, из слов в рисунки. Рука не поднималась (локальная импотенция?) писать: «Было раннее погожее утро», потому что я перестал знать, было ли оно. Вопрос «быть или не быть» сменился вопросом «что это было». Спустя многие годы я понял, что это не вопрос, а эпитафия.

Тогда, в конце семидесятых, были записные книжки. Я начал играть с ними как с моей «реальностью». Туда же полетели фрагменты детских дневников, писем и т.д. Вдруг этот калейдоскоп начал выдавать какие-то чередующиеся орнаменты (тогда еще не говорили «фракталы»), я поймал ритм, и работа закипела. Так появились на свет «Записки блудного сына». Шифр для этой системы мне разработал Владимир Эрль.

Следом выскочила «Книга облаков». Моя попытка осмысления рисовального опыта. Щебетание в духе чань.

И, наконец, третье сочинение «Точка в виде запятой», в которой я попытался разорвать пути земного притяжения, т.е. покусился на язык.

Поняв, что написал абсурдистско-заумную трилогию (видимо, не без влияния беккетовских переводов Валерия Молота), я хотел назвать ее сначала «Цитадель», а потом склонился к названию «Конец цитаты». И как всегда, влип. В перестроечные годы одновременно с моей вышла книга Михаила Безродного с таким же названием.

Тогда же я написал романчик «Утром три» в двух античастичках, сборник рассказов. Потом перерабатывал это, сидя в Германии, в 1993 году, в Akademie Schloss Solitude.

Такое интенсивное творческое напряжение никак не соответствовало рутинному образу жизни совслужащего (институт был закончен в 1972 году). Два года отработав по специальности (см. об этом в «Утром три»), я ушел в кочегары-сторожа.





«ВЕЧНЫЙ СТОРОЖ АКСЕЛЬРОД»

В 1972 году А.Ник, брат Коля, женится на студентке из Праги и навсегда (краткие приезды не в счет, последний был в 1984 году) покидает Россию. Оставшись без Вергилия, я кантуюсь в чистилище конторы, а потом, чтобы избежать смертного греха суицида, поступаю на курсы газооператоров.

Несколько месяцев получая стипендию 60 рублей, я вникал с малосадовским приятелем Гошей Никитиным в премудрость адских технологий. Несмотря на мизерность наших пособий, мы умудрялись после занятий пить коньяк и вести нескончаемые беседы об устройстве сущего. Гоша занимался всеми науками сразу от высшей математики до конхологии. Поэтому беседа могла начаться с теоремы Ферма, перескочить с нее на академика Павлова, прогуляться с Марром, зайти к Ухтомскому, посидеть у Бахтина и почтить на Выготском. Естественно, нить беседы терялась в связи с возлияниями и бесконечностью предмета нашего интереса. Ничем не обремененные, свободно говорящие обо всем, мы блуждали по городу, просаживая последние рубли. Будет день, будет пища.

После курсов я работал в кочегарке на Петроградской (Большой пр., во дворе ныне не существующего кинотеатра «Молния»). Там к неопишуемой моей радости не было парового котла, и не надо было в стеклышке на его верхотуре следить за уровнем воды, чтобы избежать возможного взрыва. Мне как полуслепцу этот уровень был почти не виден, поэтому соседство столь опасного монстра нервировало меня.

Но спустя два года я утончился настолько, что меня стал нервировать шум работающих насосов. Тогда же начальство перестало давать летом двухмесячный отпуск за свой счет. Вместо блаженства с книгой на балконе надо было заниматься ремонтом котельной, а когда меня заставили чистить бойлер, я забросил кочегарские корочки в ящик письменного стола навсегда и переметнулся в сторожа.

На этой ниве подвигаюсь и поныне, предпочитая сторожить внутри закрытых помещений.

ЖЕНИТЬБА. МЕТАМОРФОЗЫ.

Моим сватом я считаю И. В. Бахтерева. Тут такая обэриутская связь: Игорь Владимирович, получив письмо от Сергея Сигея из Ейска, свел его с Эрлем, Эрль свел меня с Сигеем, а последний свел меня с сестрой своей жены Анны (Ры Никоновой-Таршис) Надеждой. Звезды легли удачно, и мы последовали их примеру к великой радости моих родителей, формализовав наши отношения в день рождения Пушкина в 1981 году. Жить нам было негде, и поэтому, когда родился сын Лев (в день рождения Петра Первого в 1982 году), помывшись несколько месяцев у моих стариков, перебрались на три года в Комарово, стеречь дачу преподающей за границей дамы. Летом, как Ленин, жили в сарайчике. Я научился топить углем печь, сын научился ходить в лесу, собирая грибы, жена, будучи театроведом, разрывалась между Институтом Истории искусств и Комарово. Вдруг нам дали служебную комнату в коммуналке одного института, и мы прожили там до 1994 года.

При таком обороте событий мои узы с Сергеем Сигеем и Ры Никоновой столь окрепли, что я принял заумную веру и, изменив поэтику, в очередной раз сменил себе имя («стирка личности», о которой тогда я не имел ни малейшего представления), став Б. Констриктором. С третьего номера я был постоянным участником журнала «Транспонанс» и нескольких совместных выступлений в «Клубе 81» и *т.д. и т.п. и т.т. пистолет.*

Кстати, о пистолете. Лет десять я отработал в Городском стрелковом клубе, сидя с семизарядным револьвером системы Наган 1942 года выпуска на боку. Так им и не воспользовался. На ночь сдавал здание на сигнализацию и заваливался спать. Спать за деньги – моя профессия. Утром шел наперерез (и так почти всю жизнь) спешащим на работу по улице профессора Попова трудящимся. Это послужило поводом к созданию стиха, напечатанного в № 28 журнала «Транспонанс»: *«каждый четвертый день\одиннадцать месяцев в год\ мимо сарая матюшина\ б. констриктор идет».* (См. также журнал «Искусство» 1989 № 10, с. 52). Мог ли я подозревать тогда, что в XXI веке буду выступать в этом сарае, который станет музеем Петербургского авангарда, и получу штамп о постоянной прописке там на обратной сто-

роне поздравительной открытки Хлебникова обитателям этого дома, где Велимиром было начертано: «С Новым годом!». Так В. Konstriktor обрел свое вечное пристанище совсем рядом с местом рождения, Карповским переулком.

Итак, в начале восьмидесятых я сменил образ жизни (женитьба, рождение сына), творческую манеру (трансфуризм), имя (новый псевдоним). Короче, вступил на путь Кармен, путь решительных изменений. Любовь свободна и вольна.

ИСААКИЕВСКАЯ, 5-15

Мы прожили там почти десять лет. Институт дал Надежде комнату в огромной – к счастью, по размерам, а не по населенности – коммуналке. Под нами была библиотека. Над нами жила Кити Гвоздева, вдова знаменитого театроведа (кто не знает «Иль-ба-зай»?). В квартире обитала дальняя родственница изобретателя радио Попова, рыжая хромоножка с апельсинового цвета лицом, говорящая на основных европейских языках и японском. Когда я с подачи Сергея и Ры увлекся мейл-артом, эти ее знания мне здорово пригодились. Жила еще дочь певца Волчкова, исполнителя одноименных партий в операх «Красная шапочка», «Волк и семеро козлят». В начале блокады мать родила его прямо на одном из столов огромной кухни. Стоит ли удивляться, что у нас спустя несколько лет в гостях появился сын автора музыкальной сказки «Петя и волк» Олег Прокофьев, поэт и скульптор, живший в Англии.

Кто только не был у нас на Исаакиевской. Мой старинный приятель Борис Александрович Кудряков, Даниил Перельман – детский сказочник, сын выдающегося пианиста Натана Перельмана, безвременно покинувший этот мир, поэт и издатель Руслан Элинин с его прелестной женой Леной Пахомовой, основатель магазина и издательства «Гилея» Сергей Кудрявцев и писатель Егор Радов (они опоздали на электричку в Комарово, и мы просидели всю ночь, распивая водку, полученную по талонам, под утро Радов уснул на стульях в так называемой общей комнате), внук режиссера, драматург и сценарист Сергей Радлов, Борис Останин и Александр Горнон, Кирилл Бутырин и Сергей Стратановский, художники из ТЭИИ: Сергей Ковальский, Юлиан Рыбаков, Вадим Воинов, дети капитана Лебядкина из Перми («ОДЕКАЛ»), Джеральд Янечек из

Кентукки, Александр Очеретянский из Нью-Джерси, немцы, французы, итальянцы... Всех не упомнишь.

Блаженные первые годы перестройки. Жизнь летела галопом. Огромный митинг на Дворцовой. Путч. Жена сдает 19 августа билеты и не едет с сыном в Одессу. Что-то будет?

Вечером того же дня мы с моим приятелем, партнером по будущему театру «Двоеборье», скрипачом Борисом Кипнисом убедились в скором фиаско гекачепистов. Хунта объявила сухой закон. Ни на что особенно не рассчитывая, мы побрели к разливушке на углу Гоголя и Кирпичного (сейчас из-за строительства метро этот дом снесли бывшие комсомольские работники; в него попала первая бомба, когда начали обстреливать Ленинград, потом его восстановили, но все-таки он пал, рифмуясь с «Англетером». Петербургу быть пусту). Разлив был открыт. Жизнь и коньяк били ключом. Все кляли заговорщиков, и мы с Кипнисом поняли, что это несерьезно.

Серьезно уже стало в следующем веке, когда запахло серым сукном неизбывной шинели. Русская шанель № опять двадцать пять.

В начале девяностых нам повезло: жена получила новую квартиру от Союза театральных деятелей. Мы запрыгнули в последнюю дверь последнего вагона уходящего поезда. В результате обмена поселились на Черной речке неподалеку от жилья моих стареющих родителей.

ЗАМОК

Играя в мейл-арт, я привык к обширной заграничной почте. На этот раз письмо было из Германии не с предложением об участии в 501-й выставке разбушевавшихся почтмейстеров (накрывшихся вскоре не медным тазом, а компьютером), письмо содержало просьбу в консультации по нюансам русской ненормативной лексики. Я вежливо отослал отправителя к знатоку предмета К.К. Кузьминскому. Спустя некоторое время автор письма, молодой немецкий писатель Вернер Фритч, появился у меня на Исаакиевской со своей миловидной подружкой Утой Аккерман, заканчивающей тогда диссертацию по Рене Шару. Она, к счастью, говорила и по-русски. С языками у меня отношения сложились столь же удачно, как и у Василия Ивановича Чапаева. В моей безлунной языковой ночи брезжил

слабый просвет в немецком. Мы говорили ни о чем, я показывал свои рисунки, самиздатские журналы. Вернер сказал, что хочет ко мне зайти еще. Я был удивлен. Во время второго визита он предложил подать бумаги в Akademie Schloss Solitude под Штутгартом. Оказывается, директор, узнав, что Фритц едет в Петербург, попросил его найти какого-нибудь неангажированного художника. Я показался ему таковым, и после длинной череды бюрократических проволочек в январе 1993 года впервые очутился за границей.

Академия располагалась в казармах, расположенных полукругом вокруг замка на холме. Там я прожил полгода в белой, как операционная, студии, получая весьма приличную стипендию, слушая по воскресеньям песнопения из лютеранской церкви, расположенной подо мной.

В Штутгарте познакомился с Иваном Zubовым, сыном Валентина Zubова – основателя Института Истории Искусств на Исаакиевской, 5. А ведь и Бахтерев бывал там в двадцатые годы... Свою жизнь тоже надо уметь читать, и тогда она становится стихотворением, рифмы которого проясняются постепенно.

Иван Zubов был уже на пенсии, а до этого много лет отработал скрипачом в оркестре Штутгартской оперы. Он помог мне купить для сына подходящие струны. К тому времени Лев учился в музыкальной школе, я испытывал перед ним и женой чувство неловкости, блуждая по супермаркету и покупая себе еду. В России тогда было все еще скудно. Однажды я привел к Zubову в гости коллегу по Академии Ирис Сеги, венгерскую композиторшу, живущую в Словакии. Она, как и моя соседка по Исаакиевской, владела кучей языков, в том числе и русским. И даже хотела положить мои стихи на музыку. Проект не состоялся. Но свято место пусто не бывает, и потом, в Питере, Ира Цеслюкевич сделала это вместо Ирис (чем не рифма?). Ее сочинение называлось «Я ухожу». Когда там начинала звучать китайская музыка, мне казалось, что я снова в раю винного отдела гастронома начала пятидесятых годов.

Еще я подружился с Маттиасом Бумиллером, художником и будущим издателем, который небольшим тиражом выпустил три книги моих рисунков, одна из которых, «Musikhochschule»,

была потом воспроизведена в «Петербургском театральном журнале» (1995 № 7, с. 122-125).

В замке, согласно силлаботонике судьбы, обозначился и Франц Кафка. Показали документальный фильм, снятый по его последним письмам. Их читали на чешском и немецком языках две молодые дамы. По-чешски читала полиглотка Ирис Сеги. Все это были прошения о деньгах. Господин начальник, господин начальник...

Кстати, я тоже показывал там документальный фильм, снятый в России в сентябре 1991 года братом моей жены Михаилом Таршисом (я был консультантом). Четверых героев этого фильма о питерском самиздате уже нет на свете (Игорь Бахтерев, Олег Григорьев, Борис Понизовский, Владимир Уфлянд). В финале я, как теперь выяснилось, пророчествую: «Сколь бы ни были сладки плоды демократии, самиздат будет. Потому, что всегда будут филистеры и всегда будут художники». Вернувшись в Россию, я написал большую статью для первого номера журнала «Лабиринт/Эксцентр» – «Дышала ночь восторгом самиздата».

Один или два раза я встречался тогда с живущей в Штутгарте поэтессой Ольгой Бешенковской. У меня в студии останавливался будущий издатель парижского журнала «Стетоскоп» Михаил Богатырев со всем семейством. Его поражало, что все вокруг говорят по-немецки.

Одна знакомая почтенная старушка, вместе с фашистами покинувшая Россию, очень хотела свести меня с родственником, ведающим иммиграционными процедурами по роду службы. Я не проявил бурного интереса, и контакт не состоялся. Так что в июне, покинув Академию, я ехал с Бумиллером из Штутгарта в Мюнхен на его машине и любовался сверкающими на солнце огромными баками пивоваренных заводов, как ракеты взмывающими в небо Германии. Этот космодром я потом посетил еще два раза со скрипачом Борисом Кипнисом. Мы выступали в Кельне (1997) и Берлине (2003). В Кельне мы штурмовали с похмелья Собор, а в Берлине сидели на крыше яичного домика в каком-то огромном парке с красивой немецкой девушкой (большая редкость в Германии) Анной и пили вино из горлышка сверкавшей на солнце бутылки. Это тоже напомнило мне мой детский рай.

ЧЕРНАЯ РЕЧКА

Итак, у нас вместо дуэли отдельная трехкомнатная хрущевка. Как всегда, некуда девать книги. По сравнению с Исаакиевской поток гостей схлынул. Всего-то три остановки от Невского на метро, а все же... После Германии я еще нигде не работаю и занимаюсь домашним хозяйством. Надежда кроме Исаакиевской еще и преподает на Моховой в Театральном и дослуживается до профессора там. Я же получаю прописку еще в одной Академии. Это Академия Зауми Сергея Бирюкова. Со всем недавно был принят в Академию русского стиха. Это уже третья Академия в моей биографии. Правда, была еще четвертая, которую мы основали вместе с котом Абрамсиком. Когда я пил один, то ставил напротив пустую рюмку и усаживал кота за стол (почти как в стихотворении Елены Шварц «Разговоры с кошкой»). Потом эти посиделки я (хотел сказать, мы) стал называть Скотской академией. Беседы носили возвышенный, философский характер. По мере выпитого воодушевление росло. Мои глаза горели, а кошачьи сужались. С приходом других членов семьи академические штудии заканчивались.

На Черной речке и снимаемых на лето дачах я писал свою последнюю книгу прозы «Записки неохотника». Дневник тающего на глазах у читателя авторского «я». А лирическим героем моих стихотворений постепенно начал становиться мозг. Сюжетом моего существования становится саморазоблачение. Снимаются покровы. Стриптиз не завершен. Что-то еще отражается в Черной речке.

Я живу тут уже пятнадцать лет. Меня греет мысль, что здесь же когда-то жил большой поэт: *«Иду по Школьной улице один. \ Вот здесь жила когда-то Шварц Елена. \ Парил над крышей шестикрылый серафим, \ а люди думали – антенна»*. Некоторое время со мной в одном дворе жил поэт-буддист-хоккуист Андрей Шляхов. Приехавший из Америки издатель журнала «Черновик» поэт и адепт «смешанной техники» Александр Очеретянский был потрясен тем, что в одном дворе могут жить два поэта. Я объяснил ему, что Черная речка притягивает поэтов: дальше живет Шельвах, а совсем на краю света, у Финского залива Эрль. Что уж говорить об Александре Сергеевиче. Все поэты, начиная с Орфея, так или иначе не могут избежать Черной речки. Он и стоит в торце нижнего вестибюля метро, у своего Стикса – ленты черного мрамора.

ТЕАТР «ДВОЕБОРЬЕ»

Еще на Исаакиевской у нас стал появляться брат подруги моей жены, Нади Кипнис, – Борис. Он заканчивал аспирантуру в Консерватории. В результате долгого взаимного обнюхивания мы испытали некоторую симпатию друг к другу, стали обмениваться книгами, выпивать и т.д. Давно в Ейске вместе с Сигеем и Ры мы экспериментировали, записывая стихи на магнитофон. Одна из кассет прозвучала еще в конце того века на испанском радио. Поэтому, когда контакт стал прочным, я предложил скрипачу объединить наши музы. В пределе мы должны были превратиться в аэда. Работа пошла. Мы записали несколько композиций на магнитофон, потом стали делать это вживую. Съездили в девяностых в Москву, где выступили у Руслана Элинина в салоне «Классики XXI века» при библиотеке им. Чехова. Вечер был в двух отделениях, во втором полифоносемантировал Александр Горнон. В буфетике пьяный пиит выдал резюме: «Стихи – говно, музыка хорошая». В Питере говорили обратное: зачем тебе эта скрипка! Для меня очевидно родство слова и звука. Я с самого начала воспринимал это действие как партнерство на равных. Музыка не подкладывалась под стихи, и стихи не приспособлялись к музыке. Это была не мелодраматическая, не песня, не романс... Это был новый жанр! Я бы назвал его «двойная вибрация». Музыканты в это врубались быстрее, чем поэты.

Нашу оригинальность оценил режиссер Владимир Михельсон, и мы поставили с ним в театре «Особняк» спектакль «Семь знаков вечности». Я никогда не забуду горько-сладкое время репетиций. Мама была смертельно больна, она лежала дома (отец тоже умер дома, в день юбилея Надежды). И вот буквально от одра я бежал на репетиции (мы попеременно дежурили с сестрой), где просто купался в счастье нашего совместного творчества. Название «Двоеборье» придумала нам моя жена. На следующий день после премьеры (16 апреля 2003 года) мама умерла. Я принял последний вздох.

На мой взгляд, публика не разглядела нашей новизны – хотя были и восторги. После двадцати лет совместных выступлений, записей и поездок наш дуэт тихо угас. Но кто знает, что может выкинуть птица-двойка Феникс.

РОМАНЫ С ЖУРНАЛАМИ

В моей жизни было три романа с журналами. Страстный с журналом «Транспонанс», где я печатался с третьего номера до гробовой доски № 36. Потом я вступил в бурную связь с журналом «Черновик», которая прервалась на 23-м номере его существования, по недоразумению. Сейчас у меня спокойный брак по расчету с журналом «Крещатик», где я вхожу в редколлегию. Издатели двух последних журналов Александр Очеретянский и Борис Марковский жили когда-то в славном городе Киеве и даже приятельствовали. Потом первый эмигрировал в Америку, второй в Германию. По телефону я путаю их голоса из-за одинакового украинского акцента. Они сами больше не общаются.

«Друг другу мы тайно враждебны». О, если бы не было этой тайны, насколько мощнее была бы русская культура!

Намечался у меня роман и с «НЛО», но с уходом оттуда Тани Михайловской... Зато с ней и Олегом Асиновским мы издали книгу с вдохновляющим названием «Триада». А в Киеве вспыхнула любовь с издательством «Птах», там Люда Василенко издает моё неполное собрание текстов.

Когда я смотрю на 23 номера «Черновика», стоящие у меня на полке (думаю, единственный в России комплект), или на 45 вышедших к этому времени номеров «Крещатика», или вспоминаю о 36 номерах «Транспонанса», которых у меня не осталось вовсе (долгая история рассказывать, почему), о своих рукодельных книгах, разбросанных по миру, – мне кажется, я слышу еле различимый скрип вращающегося всего.

КОДА

Последние пять лет моей жизни ознаменованы знакомством с Еленой Шварц. Конечно, я знал ее с юности, как выдающегося поэта рубежа тысячелетий. И когда жил с родителями на Ланском, а она на Школьной, то мне не раз хотелось перейти мостик через Черную речку. Об этом тогда было написано *«На другом берегу ты живешь...»*. Я робел. Наслышанный о буйном нраве хозяйки шимпозиумов, предпочитал общаться не с ней, а с ее стихами. Наверное, правильно делал. Сгорел бы тогда, как мотылек.

И вдруг, после пожара (опять рифма...) на время ремонта Лена поселяется у Татьяны Николаевны Мартыновой, матери Ольги Мартыновой и тещи Олега Юрьева, с которыми я встре-

тился в Academie. Приехав из Германии, я передал ей посылку от дочери, и с тех пор мы стали приятельствовать домами. Она приглашала в гости, чтобы познакомиться с Леной. Когда визит все-таки состоялся, то, как в молодости я обалдел от Малой Садовой, так же до основания был потрясен Еленой Шварц. Подчас невыносимая, всегда изумляющая, она все, что у нее было, до последней нитки положила на алтарь поэзии.

Наблюдая магическую сущность в изящной оболочке миниатюрной женщины, невозможно пишущему человеку не реагировать на феномен шаровой поэтической молнии. Я пытаюсь об этом сказать в новой книге стихов.

ВСЕ

«Жизнь пролетела, как мгновение, \ и стала жизнь стихотворение». У каждой прожитой жизни свой ритм и свои рифмы. Их надо отыскать. И тогда хаос существования упорядочивается. Ты обретаешь покой и волю.

Это чувство я испытал на могиле Алексея Айги в Чувашии. Она была на самом краю сельского кладбища. Дальше простиралось поле, которое он любил. Могилка была его стихотворением. Это высший поэтический пилотаж. К этому надо стремиться.

P.S.

Задыхаясь в незримой петле
всех иллюзий прошедшего времени,
мозг раскроет со скрипом во мгле
ворота проржавевшего темени.
В трезвой памяти, ум не щадя
переменит шкалу восприятия...

Наблюдай исчезающий облик себя,
изумительны эти занятия!

Январь- декабрь 2009 г.

СПБ

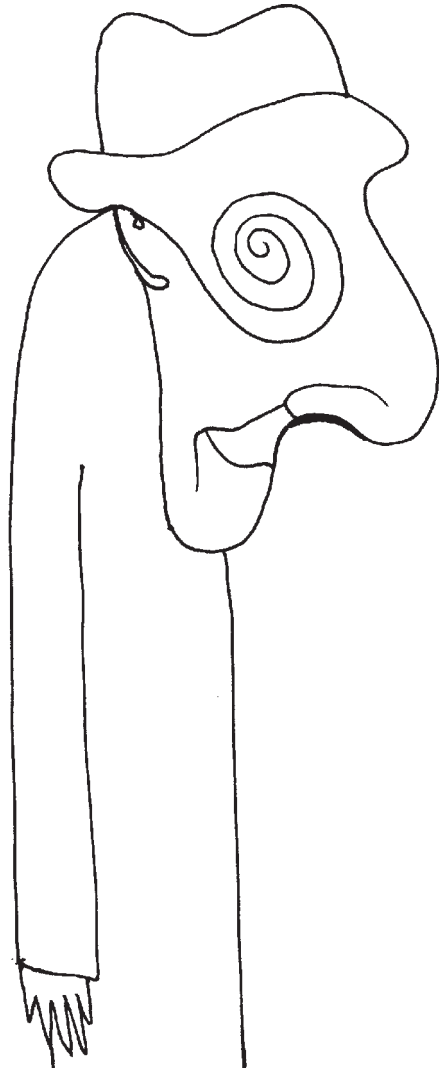
Черная

е

ч

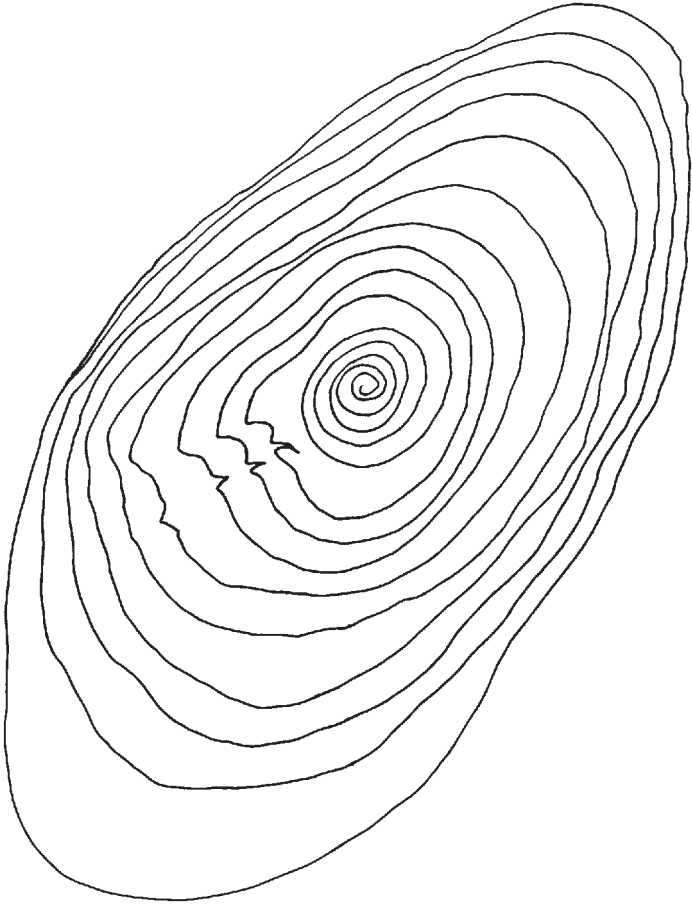
к

а



ЧУЖОЙ
(из последнего)

1. Свободное плавание
2. Кража современности
3. Соль. Ля. Рис
4. Маленькая девочка индиго
5. Proza
6. Бедная Лиза
7. Дададао
8. Основы левитации
9. Чужой
10. Формула эпохи
11. Простодушие нуля
12. Третьим будешь?
13. Ничто



СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ

Это резюме всего предыдущего опыта пришло мне в голову недавно. Фраза завывала, как воздушная сирена. И я понял ее неотвратимость. Прошу прощения, Борис Леонидович.

Быть человеком некрасиво.

Но тогда вместе с самоубийцей вопрошаем «Кем быть?».

Мне в детстве казалось, что я был или буду ангелом. Часто летал во сне. Но поллюции положили этой левитации предел. Я вырос.

О себе говорить еще скучнее, чем о других.

Дивергенция на пороге.

Об этом кричали тетки в разгар перестройки.

Прямой эфир. Это наша Богородица, говорят они, указывая на молодую женщину. А Христос живет в Токсово.

Жало развилки всегда замораживает людей. Они грезили, как динозавры. Куда пойти? Вдруг там будут повкуснее клейкие листочки?! Монстры вытягивали длинные шеи, напряженно вглядываясь вдаль...

Постиндустриальная цивилизация застряла в заднице прогресса.

Запор.

Героическое испускание газов лучшими умами Евразии.

Выхолощенные ритуалы общественной жизни.

Миром управляют мыльные пузыри денежных знаков.

Бег в мешках человечества.

Новые формы, говорил Треплев. А ни новых, ни старых форм не бывает. Они вечны.

Фрактал фракталов.

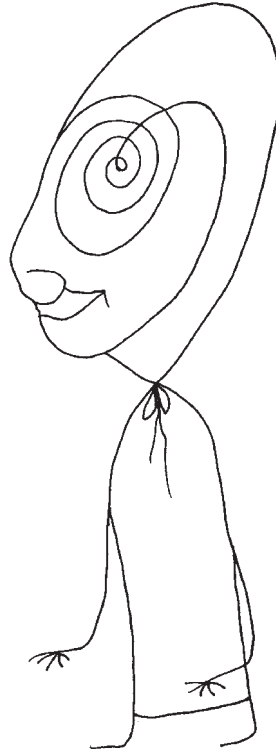
Недвижимость Парменида.

Мы оборвали не все ценники, не завершили переучет, который начал Ницше с футуристами. Теперь каждый должен сбросить сам себя с корабля современности.

Пусть эта современность идет к ЧЕРТУ.

Свободное плавание.

10.11.2009.



КРАЖА СОВРЕМЕННОСТИ

В XX веке родилось новое преступление – кража современности. Например, в России пропала великолепная проза 20-х – 30-х годов. Не прочитанная тогда, она (за редкими исключениями) не прижилась и сегодня.

Поезд истории ушел.

Кто читает «советскую пастораль» Андрея Николаева (Егунова) «По ту сторону Тулы» (1931)? Больше читают его переводы Платона.

Это забыть не органическое, а лоботомическое. Поэтому и сейчас литература не полноценна, колченога.

Время ка. лечит.

Вечная им память, попавшим между жерновами истории.

Мука будет.

Долго.

13.11.2009.



СОЛЬ. ЛЯ. РИС.

Собственность – это кража, писал Прудон. Экономический посыл можно расширить до онтологического.

Тогда индивидуальность в искусстве иллюзорна. Художник ничего не создает, он, как серфингист, лишь обозначает собой волну, которую ошибочно отождествляют с субъектом. Творчество – серфинг, по которому мы догадываемся о могуществе омывающего мозг океана.

Шум и ярость ушной раковины. Пропась глазного яблока. Девятый вал нервной системы. Приливы и отливы вдохновения.

Море волнуется раз.

Соль. Ля. Рис.

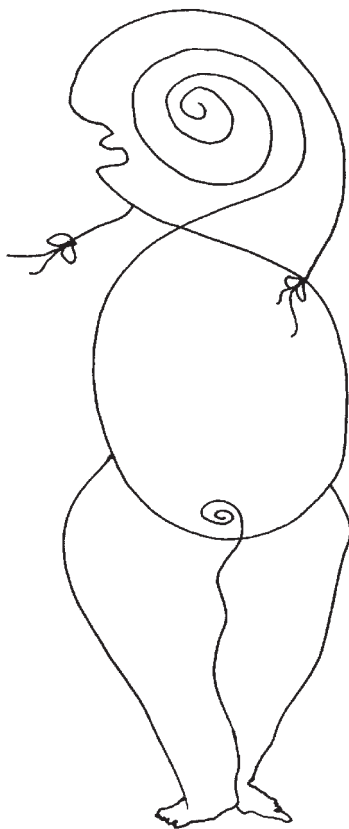
22.11.2009.

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА ИНДИГО

У человека нет выбора.
Ему предстоит перестать быть самим собой.
Выблевать глазное яблоко я.

Театр закрывается.
Нас больше не будет.

4.12.2009.



ПРОЗАУ

Сюжет стал невозможен, поскольку объективность умерла даже в физике. (Эффект наблюдателя.) Предмет описания – эквилибристика сознания. Это требует изощренной словесной пляски. Можно упасть и сломать рассудок. Чехов предвидел будущую тарабумбию. Заречная игра в бисер. Сера.

Сёра. Сезанн. Сазаны сюрреализма.

Треп Треплева. Труп Треплева. Троп Треплева.

Тре-тру-тро, тре-тру-тро, тре-тру-тро.

Свиньи мечутся перед бисером.

про

тре

тру

тро

зау

4.12.2009.

БЕДНАЯ ЛИЗА

Один перевернул картину вверх ногами. Другой покрыл холст черной краской. Третий исполнил поэму ритмодвижением руки. Все это были сакральные жесты. Вроде крестного знамения. Новая вера быстро ушла в свисток дизайнера. Сальто-мортале духа опять откладывается на потом потопа.

Бедная Лиза-Европа

7.12.2009.

ДАДАДАО

Иногда просыпаясь ночью, удается прокатиться на одном из проплывающих сквозь голову ментальных облаков. Итог прогулки – стихотворение.

Грубый чертеж беспредельности заумысла. Тщетная попытка загнать бесформенное в прокрустово ложе грамматики.

Дададао.

9.12.2009.

ОСНОВЫ ЛЕВИТАЦИИ

Стремление избавиться от «я» ведет к социальной атрофии. Они все – «я». А ты уже не совсем «я». Они это чувствуют подсознательно и подозрительно смотрят на это нечто тебя. Не-я непригодно для капитализма, потому что ему нечего приватизировать. У не-я всё или ничего.

Отсутствие собственности приведет к поголовной левитации. Когда-нибудь неяки будут барражировать в эфире. Балласт сброшен, а ничто ничего не весит.

9.12.2010.

ЧУЖОЙ

Глубоко ночью проснулся (часа три) и посмотрел в окно (зима). Оранжевые фонари, тишина, луна. И вдруг понял, что это все не мое. Как будто бы я на чужой планете. И плоть тоже не мое. Мир, как навязанная галлюцинация. Я, как навязанная галлюцинация. Колобок – это клубок сновидений. Самое трудное уйти от себя не на мгновение, а навсегда. Сделать так, чтобы «я» стало чужим.

Объективироваться.

2.02.2010.



ФОРМУЛА ЭПОХИ

Введенский вывел главную формулу эпохи – «КОНЕЦ СОВЕСТИ».

Алгоритм нехитрого действия «купи-продай» достиг своей кульминации. Фармацевты продают несуществующие болезни. Ученые придумывают природные явления, с помощью которых можно манипулировать миром. Это явный крах цивилизации товарно-денежных отношений. Деньги запахли катастрофой. Бумажный потоп.

В погибающем социуме все общественные институты (семья, религия, образование, наука, культура) вне зависимости от степени таланта и порядочности составляющих их людей ссучиваются.

Это больно. Но это еще и гомерически смешно. Вот в чем ужас.

Мертвые души.

2.02.2010.



ПРОСТОДУШИЕ НУЛЯ

Вот к чему пришел мозг в процессе своего шестидесятилетнего функционирования: все – неправда. Кайф в том, что этот постулат опровергает самого себя. После него, по-логике, остается только одно – молчание. Но парадокс в том, что и логика не уместна в этой парадигме. Поэтому поэт продолжает бормотать как ни в чем не бывало. Потеряв все, не обретаем ли мы заново Эдем.

Простодушие нуля.

9.02.2010.

ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ?

Сон о человеке заканчивается.
 Произойдет революция местоимений.
 Первое лицо единственного числа станет
 последним.
 Третьим будешь?
 Приоткроется тайна Троицы.
 Обнаружится мистическое измерение.
 Станем волнами океана света.
 Бла-бла-бла-бла-бла-бла-годать.
 10.02.2010.

НИЧТО

Что может быть глупее мыслей приходящих из ниоткуда и
 уходящих в неизвестно куда?

Также как и сны.

Ни что.

Разве что ты сам.

14.02.2010.

СПб, Черная

е
ч
к
а



Б. КОНСТРАКТОР. РИСУНКИ





СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРОВ.....	4
СТИХИ О ЦАГЕНДОНЕ.....	5
ВРЕМЕНА ГОДА.....	11
<i>Осень Робинзона.....</i>	14
<i>Белая струна.....</i>	17
<i>Лето красное, как крематорий.....</i>	22
<i>Соловей на Черной речке.....</i>	24
ЧЕРНАЯ РЕЧКА.....	27
<i>Путеводитель.....</i>	30
<i>Письма к сыну.....</i>	35
<i>Молчба.....</i>	39
<i>Поминки по Гуттенбергу.....</i>	45
<i>Кое-что об аксельроде.....</i>	47
<i>Время-воды.....</i>	50
<i>Конец фантома.....</i>	54
<i>Гуляет мозг по улицам себя.....</i>	62
<i>Остановка по требованию.....</i>	65
<i>Северное сияние.....</i>	67
<i>Дорога домой.....</i>	70
<i>Прыжки и танцы.....</i>	72
СТИХИ ИЗ КНИГИ «ВОТ».....	77
<i>Пролог.....</i>	80
<i>Стихи из книги «Вот».....</i>	81
<i>Буддийские страдания.....</i>	87
<i>Небесная хирургия.....</i>	89
<i>Время действия.....</i>	96
<i>Озноб озона.....</i>	98
<i>Стихи про чтение.....</i>	101
<i>Моление о птичке.....</i>	103

БОЛОТНОЕ СЕРЕБРО.....	107
<i>Брат облаков...</i>	110
<i>Первая тетрадь.....</i>	111
<i>Козлиное копытце.....</i>	114
<i>Чайная церемония.....</i>	117
<i>Письма к брату.....</i>	119
<i>Мадригалы осени.....</i>	123
<i>Разные стихи.....</i>	127
<i>Болотное серебро.....</i>	134
РАССКАЗЫ О БАБУШКЕ.....	139
<i>Ритуальные дни.....</i>	142
<i>Встречи с полковником Подлегарсом.....</i>	160
<i>Сольфеджио.....</i>	170
<i>Воздушные замки.....</i>	178
<i>В розовом свете.....</i>	186
<i>Летальные опыты художника Воронина.....</i>	196
<i>Рысь-Сказы.....</i>	202
АВТОБИО.....	217
<i>Потерянный рай.....</i>	220
<i>Родители.....</i>	220
<i>Детство.....</i>	221
<i>Школа.....</i>	222
<i>Институт.....</i>	222
<i>Малая Садовая.....</i>	223
<i>Чтение и сочинение.....</i>	226
<i>«Вечный сторож Аксельрод».....</i>	230
<i>Женитьба. Метаморфозы.....</i>	231
<i>Исаакиевская, 5-15.....</i>	232
<i>Замок.....</i>	233
<i>Черная речка.....</i>	236
<i>Театр «Двоеборье».....</i>	237
<i>Романы с журналами.....</i>	238
<i>Кода.....</i>	238
<i>Все.....</i>	239
<i>P.S.</i>	239
ЧУЖОЙ.....	241

литературно-художественное издание

Борис Ванталов
Б. Констриктор
(*Аксельрод Борис Михайлович*)

СЛОВА И РИСУНКИ

Главный редактор Людмила Василенко
Дизайн и верстка Даниила Суглобова
Оформ. обложки Сергея Суглобова
Комп. набор Марии Банатовой

Сдано в набор 27.07.10. Подписано в печать 30.09.10.
Формат 60x84/16. Печать офс. Тираж 200 экз.
Гарнитура Прагматика. Заказ №

Издатель «Василенко Л.А.». Издат. идент. № 96102
Свидетельство № 795 серия ДК от 31. 01.2002 г.

Отпечатано с оригинал-макета в типографии
ООО «Друкарня «БІЗНЕСПОЛІГРАФ»»
г. Киев, ул. Вискозная, 8.